ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА № 52 ДЕКАБРЬ 1989

В Новый Год с надеждой

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 52 (3257)

23—30 ДЕКАБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Американские Санта-Клаусы на Красной площади. (См. в номере материал «Рождественский десант».)
Фото Анатолия БОЧИНИНА

Оформление Н. П. КАЛУГИНА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 04.12.89. Подписано к печати 19.12.89. А 10632. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 300 000 экз. Заказ № 1575. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456 ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 251-89-83; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.



НАДЕЕМСЯ НА ВАС, ДЕПУТАТЫ!

Каждый день работы второго Съезда народных депутатов СССР — емкая страничка знаменательной летописи возрождения нашего государства. Как необычен и долготруден этот тернистый путь! Какие сложные коллизии вплетаются в широко обсуждаемую программу оздоровления экономического механизма, решения неотложных социальных проблем! Поистине грандиозные задачи стоят перед народными избранниками. И мы верим им. Верим, что свет доброго разума пробьет бетонную толщу старого, закостенелого мышления, приоритета «наезженных дорог» и не отягощенных поиском нового решений. Завтрашний день, наша судьба в ваших руках, товарищи депутаты!

ПАМЯТИ АНДРЕЯ САХАРОВА

СУДЬБА И СОВЕСТЬ

Ушел из жизни Человек, а человечество потеряло Личность. Много, слишком много камней пришлось на его долю. Одни отвергали его по неприятию непреклонного в своей независимости характера. Таких было малое число, но были они влиятельны, во многом программировали общественное мнение. Они знали, в чем опасность «вины» того, кто в своей искренней любви к Родине и человечеству не уступал ни лести, ни наградам, ни угрозам, ни публичному улюлюканью, ставя совесть превыше всего.

Другие в своих суждениях об Академике и его деятельности стали жертвами чужого мнения, чужих и предвзятых оценок. В который раз в нашем трагическом столетии естественное для здравого смысла желание испытывать гордость за свою страну, свой народ и дела его, но соединенное с некритичностью суждений, с готовностью слишком легко полагаться на мнение других, с неинформированностью, по существу, лили горькую воду на лопасти неправедного дела.

Самостоятельность суждений и поступков еще нередко и сегодня продолжает обрекать человека на острые испытания в жизни, порождая и разочарования, и обиды, и мучительные боли от злой нетерпимости социума. Что же говорить о временах иной давности! Но по-настоящему А. Д. Сахаров впал в немилость тогда, когда осмелился выступить против идеологии цинизма и безверия, спесивой посредственности и некомпетентности, против постыдного безвременья, когда авторитаризм отбрасывал от себя все живое и творческое.

Не так уж много в стране трижды Героев Социалистического Труда, неоднократных лауреатов высших премий и наград. Но, пожалуй, только один пожертвовал ими, не желая поступиться убеждениями. Многие ли оценили по достоинству этот поступок, задумались над его значением и мотивами?

А. Д. Сахаров защищал страну силой создаваемого им термоядерного оружия, но и силой разума, своего обостренного нравственного чувства. Кажется непостижимым, что в одном человеке неразделимо слились мощь теоретика, размышления о глубинах Космоса и атомного ядра, о том, что несут они человеку и что сам человек ждет от этих загадочных глубин. И думы о нелегкой судьбе своего народа, общей цивилизации в драматически меняющемся мире — размышления, вылившиеся в гражданское мужество Поступка, мужество Позиции.

Только скорбеть о безвременно оборвавшейся жизни — мало. Припоминать ошибки, заблуждения, зигзаги, в которых он тоже был искренен и честен, мелко и пошло. Нравственный императив в другом: чему учит нас эта нелегкая судьба?

Патриотизму, который цель и задачу свою видит в возвышении страны, народа, достоинства личности. **Ответственности** каждого за само течение Истории. **Способности** видеть свое конкретное дело в целостном сплаве всего движения цивилизации, оценивать его критериями высшей общечеловеческой значимости. **Верности** своему нравственному чувству, своим убеждениям, итогам собственных духовных исканий, добытых муками разума. И **мужеству** бороться, порой в одиночку, порой с наивной распахнутостью, но упрямо и бескорыстно, за справедливость обретенной истины, что и движет вперед человека и человечество.

Уроки стары как мир. Но повторение их обогащает справедливость и мудрость. И жаль, что только уход настоящих личностей обостряет общественное сознание размышлениями о глубинах бытия и вечных ценностях, Добре и Зле, болезненными прозрениями... и пониманием, сколь многим может быть наполнена одна-единственная жизнь, способная сеять милосердие и после того, как растворилось последнее ее дыхание.

Ровно три года назад, в горьком для А. Д. Сахарова Горьком раздался телефонный звонок от М. С. Горбачева.

Вернувшись в Москву, бывший ссыльный отдал себя служению идеям, в которые столь беззаветно верил.

Великий ученый и гражданин — таким останется в памяти людей Андрей Дмитриевич Сахаров, имени которого суждено стать в летописи нашей страны рядом с именами самых достойнейших представителей отечественной интеллигенции.

А. Н. ЯКОВЛЕВ,
народный депутат СССР

ПЕЧАЛЬНО, НО ТВЕРДО

Где-то в середине семидесятых Сахаров пригласил меня к себе на квартиру и предложил подписать коллективное письмо, требующее отмены смертной казни. Я тоже был за эту отмену, но в то время не особенно верил в действенность коллективных писем. Их авторов, так называемых «подписантов», затем начинали «таскать на ковер» по отдельности. Некоторые из них отрекались от своих подписей, говоря, что их ввели в заблуждение, каялись. Бюрократия не только карала — она и покупала, и раскалывала. Эпоха казней на плахах прошла — настало время тихого удушения в подъездах. В «черные списки» попадали не только имена людей, выступавших прямо против правительства, но и просто с гуманными инициативами. Часть либеральной интеллигенции, корчась под прессом «культа безличности», вела себя по советской модификации галилеевского восклицания: «А все-таки она вертится...», добавляя под давлением: «...но, конечно, только по указанию партии».

Я сказал Сахарову, что напишу собственное письмо с требованием об отмене смертной казни. Сахаров понял мои доводы и сказал, что это тоже было бы неплохо. Я добавил, что тем не менее не верю в положительный результат этих писем. Сахаров задумался и печально, но твердо сказал: «Да, конечно, вы правы... В данной ситуации это, конечно, лишь жест... Но сейчас и гуманный жест важен... Даже если он безнадежен...»

Сахаров не переубеждал меня, но и его переубедить было невозможно. Он помолчал, видимо, перебирая в памяти редкие оставшиеся имена известных интеллигентов, которые могли бы подписать это коллективное письмо, и спросил: «Вы близко знакомы с Любимовым. Может быть, он подпишет?»

Театр на Таганке, руководимый Любимовым, тогда находился под постоянными угрозами снятия главного режиссера, и я ответил: «Подпись Любимова под письмом ничего не решит, но после этого мы можем потерять любимовский Театр на Таганке». Сахаров взглянул на меня своими добрыми, застенчивыми и в то же время сильными, бьющими прямо в совесть глазами и так же печально, но твердо спросил: «А не кажется ли вам, что если наша интеллигенция не будет подписывать такие письма, то тогда мы потеряем всех и уже навсегда: и Театр на Таганке, и самого Любимова, и многое другое?»

Впоследствии Сахаров — увы! — оказался прав.

Так он и жил — печально, но твердо. Что изменило преуспевающего с юности ученого-атомщика, обладателя трех Золотых Звезд Героя Социалистического Труда, которому при жизни согласно закону должны были поставить памятник? Что превратило его, такого далекого по характеру от политики человека, в одну из центральных политических фигур эпохи?

Традиционные для русской интеллигенции муки совести.

Водородная бомба, над которой он работал, в конце концов привела к тому, что его собственная совесть взорвалась, как бомба, подорвав устои самого крупного в мире милитаристского блока, угрожающего всему человечеству,— бюрократии. Борьба Сахарова была новой по качеству — тонкая, правовая, интеллигентная. Сахаров проявил даже по отношению к бюрократии свою обычную вежливость и воспитанность, послав брежневскому правительству свой дилетантский, но пророческий манифест о мирном сосуществовании, где он провозгласил теорию конвергенции между социалистическими и капиталистическими странами как единственное спасение. Бюрократия не просто отвернулась от Сахарова, но, как многоголовое чудовище, защелкала множеством оскаленных, плюющихся, больно кусающих пастей!

Сахаров оказался в положении Пастернака, не будучи политиком, но невольно попав в эпицентр политики, потому что при бессовестной административной системе действующая совесть есть явление политическое. Но Сахаров пошел дальше Пастернака и героически пожертвовал наукой, сознательно стал политическим борцом. Как политический борец, Сахаров был уникален, ибо мировая история еще не знала такого мягкого, застенчивого бойца, такого интеллигентного, неловкого героя. Сахаров был уникальным политиком, потому что в нем не было ничего от политического профессионального цинизма, но его безоружная мудрая наивность, граничащая с детскостью, подняла позорно падший престиж политики как таковой. Сахаров был уникальный патриот, который протестовал против наших войск в Праге, затем в Афганистане и тем самым доказал, что если патриотизм по отношению к родине входит в противоречие с патриотизмом по отношению к человечеству, то он перестает быть патриотизмом.

Сахаров жил по старинному английскому принципу: только настоящий джентльмен берется за безнадежное дело. Но тем не менее дела, за которые он брался, не оказались безнадежными. Да, после телефонного звонка Горбачева в Горький Сахаров вернулся из ссылки; перестройка и гласность оказались возможны не только благодаря Горбачеву, но и благодаря Сахарову, и всему правозащитному движению.

Официально заявленный нашим правительством примат общечеловеческих ценностей над классовыми интересами — разве это не сахаровский тезис, который еще недавно называли «антипатриотичным»? Разве ставка на развитие совместных предприятий с зарубежными партнерами — это не есть первые, неуклюжие, но обещающие шаги не так давно оплеванной сахаровской «конвергенции»? Разве в том, что разрушилась берлинская стена, помог не Сахаров, призывавший к разрушению идеологических барьеров? Оказалось, что политический дилетантизм с чистой совестью гораздо результативней профессионального политиканства, у которого совесть нечиста. Когда еще вчера живой Сахаров с флажком депутата на лацкане шел на Съезд по кремлевским торцам, скользким от пролитой в истории крови, то его фигурка казалась крошечной и беззащитной перед гигантскими брокkенскими тенями Ивана Грозного, Сталина. Но после смерти Сахарова его тень, навек впечатанная в кремлевские стены, будет все увеличиваться и увеличиваться, а тени тиранов — уменьшаться.

Сахаров не возник на голом месте. Он был рожден всем лучшим, что нам оставила великая русская интеллигенция. От Толстого он взял и осуществил на практике тезис непротивления злу насилием. От Достоевского — тезис о том, что все лучшие идеалы человечества не стоят слезы невинного ребенка. От Чехова — тезис о том, что нет маленьких людей и маленьких страданий. Сахаров победил. Печально, но твердо.

Е. А. ЕВТУШЕНКО,
народный депутат СССР

Смотри стр. 4.

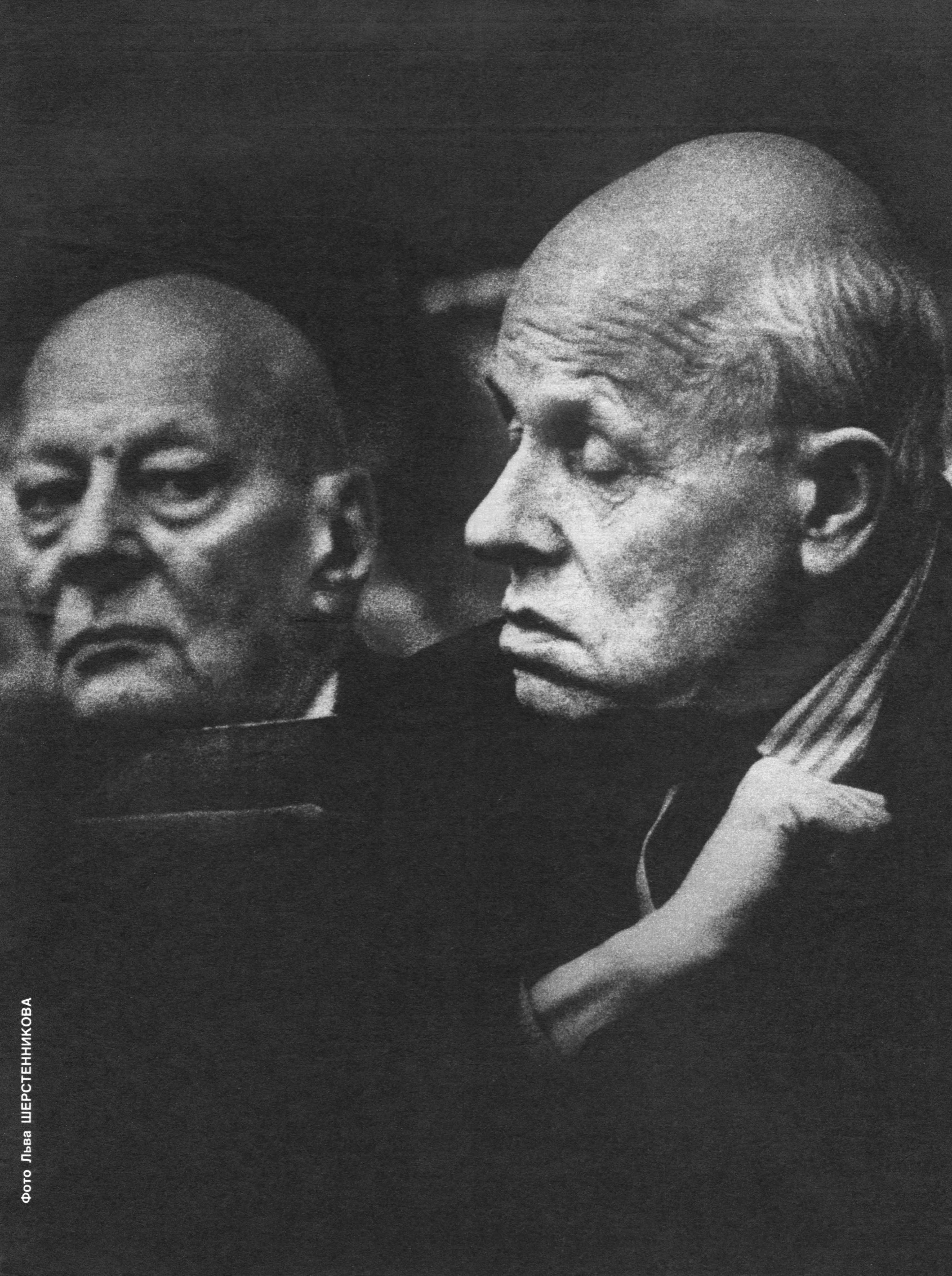


Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА

ДУША СБЫЛАСЬ

Кто видел облик Андрея Дмитриевича Сахарова, имея глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы понимать, никогда его не забудет.

Задумчивый, вдумчивый наклон головы и плеч, пригнутых под незримой ношей мысли и совести, движение того, кто прислушивается то ли к собеседнику, то ли к внутреннему голосу,— и рыцарская прямота осанки. Негромкий голос, не имеющий в своем диапазоне ни единой демагогической интонации,— и непреложная твердость того, что выговаривается этим голосом. Хрупкость физического состава, да попросту обреченность, которую, положа руку на сердце, все мы более или менее чувствовали,— и сила духа, уже не зависящая от тела, вышедшая из-под власти всего внешнего.

Мирная сила. Редкий, благородный контраст, опровергавший сразу два расхожих представления: будто для радикала неизбежно быть шумным, агрессивным демагогом — и будто либералу на роду написано являть расслабленность, размягченность воли. Какая там расслабленность! При одном взгляде на Андрея Дмитриевича вспоминались мандельштамовские слова: «Человек должен стать тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу».

Наука потеряла творческий ум — об этом пусть говорят коллеги. Общественная жизнь потеряла деятеля уникального масштаба — это так очевидно, что едва ли нуждается в констатации. Но для сердца внятно и чувствительно другое: люди потеряли **праведника.**

Праведность — больше мужества, хотя без мужества не стоит, просто потому, что у труса до нравственного выбора дело не доходит: за него все решено обстоятельствами. Никогда не будет забыто, что Сахаров разогнулся во весь рост, не дожидаясь, пока это разрешат, и этим в несравненной степени помог подготовить миг, когда прямохождение оказалось возможно для более слабых, то есть для всех нас — от ученого до рабочего. Мы не смеем забыть, как он годы стоял в одиночестве — «один из всех, за всех, против всех». Пока люди остаются людьми, они высоко ставят храбрость, и тот, кто отказывается уважать ее даже в противнике, выводит себя из числа людей. Но праведность — выше героизма, больше героизма. Отзывчивость к чужой боли; готовность принять на себя общую со-виновность; вера в единую для всех истину, стоящую превыше хотя бы и героического самоутверждения,— свойства более драгоценные, чем храбрость сама по себе.

Этот западник, этот либерал по-своему продолжил исконно русскую традицию юродивых, верных слову Нового завета: «не сообразуйтесь веку сему». В нем жила очень характерная для России сосредоточенность на моральных проблемах, для которой все иное — «баловство». (Разговаривая с ним, отнюдь не историком по роду занятий, я имел случай убедиться, насколько широко изучена была им история, но строго в одном аспекте — не богатство красок, а черно-белая геральдика справедливости и несправедливости.)

Что до его западничества, в его душе жил тот Запад, о котором нынче все, кажется, забыли: героический Запад пуритан, искавших Божией правды. Слова Декларации независимости сохраняли для него первозданную свежесть и полноту буквального смысла.

Сбудется ли то добро, которого Андрей Дмитриевич желал своему обществу и всему человечеству, зависит теперь уже не от него, а от нас всех. Но то, что зависело только от Бога и от его свободной воли, сбылось: он сам.

«Господи! Душа сбылась:
Умысел Твой самый тайный».

С. С. АВЕРИНЦЕВ,
член-корреспондент АН СССР

ТЕЛЕГРАММЫ

Низко кланяясь, бесконечно скорбим преждевременной утрате талантливейшего ученого, человека огромного гражданского мужества, совести, бескорыстия, человеколюбия. Вечная память Андрею Дмитриевичу Сахарову. Он для нас ум, честь, совесть России.

ЕГНУС,
врач
Челябинск

Глубоко переживаем тяжелую утрату, кончину великого гражданина, выразителя нашей боли, совести и надежды. Соболезнуем, разделяем наше общее горе и скорбь. Память о Сахарове, нашу благодарность и любовь сохраним навечно.

Сотрудники НПО «Энергосталь» — 150 подписей
Харьков

С кончиной выдающегося ученого, неутомимого бесстрашного борца за права человека Андрея Дмитриевича Сахарова осиротела русская земля. Лучшим памятником Андрею Дмитриевичу будет воплощение его гуманных идей. Мир праху, вечный покой.

Владимирское общество «Мемориал»

Выражаем самые глубокие соболезнования по поводу кончины академика Сахарова. Это незаменимая утрата не только для советского народа, но и для всего мыслящего человечества. Память о нем навсегда останется в наших сердцах и сознании.

Группа болгарских студентов
София

Я являюсь подписчицей вашего журнала. Убедительно прошу вас опубликовать на страницах «Огонька» мое глубокое соболезнование госпоже Елене Боннэр и Президиуму Академии наук СССР в связи с безвременной кончиной одного из величайших сынов России, академика Андрея Сахарова.

Людмила ДИК
Ганновер, ФРГ

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ



■

Хочу поделиться своей тревогой по поводу роста активности ортодоксально-«марксистского» крыла Ленинградского объединенного фронта трудящихся (ОФТ), особенно в свете последних событий в прошлом месяце.

Определяющим идейным постулатом этого фронта, как я понимаю, является тезис о рабочем классе как самом передовом и революционном в обществе, причем такая его роль предопределена теорией Маркса, а потому не зависит от социальной и исторической конкретики, от сегодняшнего уровня сознания и готовности народных масс к революционным преобразованиям.

Таким образом, нам предлагают развернуться на 180 градусов от перестройки и вернуться на полвека назад: от всенародного государства — к диктатуре пролетариата, от общечеловеческих ценностей — к ценностям сугубо классовым, от плюрализма мнений — к идеологическому монополизму, от объединения здоровых сил общества — к его разделению на полноценных и «попутчиков». Поэтому в нашем городе закономерно появление среди главных фигур ОФТ деятелей типа Нины Андреевой и Михаила Попова — главного идеолога и бдительного охранителя «нашего социализма» от «мелкобуржуазного размывания».

У теряющих почву под ногами аппаратчиков из числа вчерашних вдохновителей брежневского «социализма» остался последний шанс удержаться на плаву. Они вдруг вспомнили, что со всеми своими спецраспределителями и свободой от любых законов и очередей они есть плоть от плоти рабочего класса. Они, кстати, всегда нуждались не только в спецмагазинах, но и в спецрабочих, которые и зачитывали бы речи, составленные в кабинетах: «Мы, рабочие, привыкли говорить прямо...»

И вот, спекулируя на здоровом стремлении рабочих занять более активную позицию в перестройке, консервативная часть аппарата укрылась за широкие рабочие спины и заулюлюкала оттуда: «Партию рабочих бьют-обижают!!» Возникает прямо-таки парадоксальная ситуация. Лидер партии признает, говорит об ответственности за негативное прошлое и ее нынешнее отставание от перестроечных процессов в обществе, а в то же время некоторые делегаты «от рабочих» по-простому, по-сталински угрожают: «Мы не позволим нападать на нашу партию». И точка!

Можно, конечно, резать по живому, разделяя трудящихся по национальному признаку (как это делает «Память») или социальному (как это делает ОФТ),— не в том суть. А суть в том, что скрытая оппозиция перестройке, правда, наконец-то объявившая себя открыто, готова на все ради сохранения своей власти и привилегий. Это показали события в Закавказье, Фергане, санкционированные обкомом КПСС зловещие сборища «Памяти» в Румянцевском сквере Ленинграда в прошлом году и, наконец, последние события в нашем городе.

Остается надеяться, что Объединенный фронт трудящихся сумеет изолировать экстремистскую часть рабочих политклубов, что сознательным рабочим достанет здравого смысла доверить заботы страны людям честным, компетентным, творческим. А анкетные данные оставим для забавы, например, Нине Андреевой.

Неужели Россия способна только разделять, разрушать, искать врагов и ходить строем?!

Ю. БИРОВ,
наладчик
Ленинград

■

Законы РСФСР о выборах позволяют стать народным депутатом кандидату, против которого проголосовали все избиратели, кроме него самого. Действительно, согласно этим Законам, из трех и более кандидатов на повторное голосование представляются двое, даже в том случае, если за них подано по одному голосу, а остальных кандидатов все избиратели вычеркнут. Для победы в повторном голосовании достаточно одного собственного голоса, если соперника вычеркнут все избиратели.

Таким образом, избирателям запрещено не избирать одного из предложенных им кандидатов, даже если все они крайне непопулярны. Вычеркивание обоих кандидатов на повторном голосовании становится не только бесполезным, но и способствующим избранию одного из них, так как одно лишь участие в голосовании обеспечивает необходимый 50-процентный кворум избирателей. Единственным законным и осмысленным действием избирателей является в таких условиях бойкотирование выборов. Избирательная кампания приобретает нежелательный, крайне острый и конфликтный характер. Гражданам всячески препятствуют выдвигать и регистрировать своих кандидатов. Для обеспечения кворума избирателей в день голосования по квартирам ходят незваные гости с выносными урнами и набивают их бюллетенями до отказа (в принятых Законах уже нет упоминания о просьбах избирателей как обязательном условии голосования на дому).

Опыт беспроигрышных выборов, приобретенный административной системой в некоторых округах весной этого года, распространяется теперь на всю территорию России. Этот опыт очень прост: предложить избирателям не менее трех выдвиженцев административной системы и воспрепятствовать выдвижению и регистрации других кандидатов — одного из предложенных кандидатов избиратели будут обязаны выбрать.

России не нужны великие потрясения, митинги, забастовки, бойкоты. Поэтому необходимо вернуть избирателям отнятое у них право не избирать непопулярных кандидатов!

Правило определения победителя при повторном голосовании должно быть обусловлено либо получением более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, либо получением более трети голосов всех избирателей округа, так как все избиратели делятся пе-

С КЕМ ВОЮЕТ ФРОНТ ●
ИЗБИРАЮ САМОГО СЕБЯ! ●
КТО ЗАЩИТИТ АРЕНДАТОРА? ●

ред повторным голосованием на три группы: поддерживающие одного кандидата, поддерживающие второго кандидата и, наконец, не поддерживающие ни одного из них.

Такая поправка гарантировала бы минимально необходимую защищенность избирателей от агрессии со стороны аппарата, который будет стремиться на выборах воспроизвести себя, и придала бы избирательной кампании направленность поиска и выдвижения кандидатов, которые уже в первом туре выборов могли бы получить вотум доверия избирателей.

Е. ТВЕРДОХЛЕБОВ,
народный депутат
Черемушкинского райсовета Москвы,
Н. ТОРЧИНСКАЯ,
член правления добровольного общества «Избиратели за перестройку» Свердловского района Москвы

■

Пишу вам и прошу о помощи. Помогите! У меня отбирают бычков! 24 июня 1988 года я заключила договор с колхозом имени XXV партсъезда на откорм 10 голов бычков, взяла трехмесячных. Согласно договору, кормами меня должен обеспечивать колхоз, но при расчете (в августе 1990 года я обязана сдать бычков весом 420 кг каждый) с меня удержат полностью стоимость кормов, то есть полная самоокупаемость. Но теперь администрация мне заявляет, что нагрузка даже в 50—70 голов — это устаревшая цифра и к аренде никакого отношения не имеет. Меня заставляют идти работать на ферму, с которой уволили в 1985 году за критику, неуживчивость, а фактически за то, что я не умею молчать и прямо говорила о нарушениях, недостатках и злоупотреблениях на ферме. Объявили, что стаж мне не идет, хотя договор обговаривался с условием, что аренда — это мое трудоустройство. Администрация ссылается на то, что договор заключен не на арендном бланке, а на бланке выдачи молодняка на доращивание в личных хозяйствах. Да ведь в момент заключения договора бланков на аренду просто не было! Одним словом, администрация просто усмотрела лазейку, чтобы со мной разделаться. В селе меня считают чужой — я приехала сюда по переселению в 1983 году. Не раз у меня возникали конфликтные ситуации с администрацией. И все потому, что я не умею молчать, не хочу мириться с несправедливостью, с нечестностью. И на ферму меня теперь гонят, чтобы со мной окончательно разделаться, вынудить уехать из села. Я прошу вас, помогите. Дело мое настолько серьезно, что если бычков отберут, я не смогу даже с долгами рассчитаться.

С. САДОВНИКОВА
с. Корсук, Эхирит-Булагатский район Иркутской обл.

■

Нельзя сказать, что однозначную оценку в редакционных коллективах получило известие о том, что с 1 января 1990 года низовая печать (в частности районная) переходит на хозрасчет. Произошло это вовсе не потому, что журналисты чураются самоуправления, самофинансирования, самоокупаемости. Но реально ли говорить о самостоятельности и самоуправлении, если районная газета является политическим органом соответствующего райкома КПСС и Совета народных депутатов и одновременно поставлена в жесткую материальную зависимость от Госкомиздата РСФСР. Тем более что каждый из них, когда заходит разговор о материальной поддержке, открещивается от нее. «Вы не наши! Вас финансирует Госкомиздат!» — говорят издатели. «Вы орган райкома партии, вот и пусть...» — советует Госкомиздат. Как тут не вспомнить пословицу о дитяти, у которого семь нянек? Реально ли говорить о самофинансировании, если большинство районных газет Карелии убыточно, а сумма доходов, ежегодно получаемых от рекламы и объявлений, не превышает 20 тысяч рублей? Это проверено многолетней практикой, как и то, что исчерпали себя на сегодня возможности увеличения тиража. Вряд ли можно согласиться с тем, что предлагают иные горячие головы: искать себе спонсоров в лице крупных предприятий. Но сможет ли газета их после этого критиковать? А каким ореолом окрасятся положительные материалы?

Далеко не лучшие условия труда и быта, не слишком-то высокие заработки постоянно держат редакционные коллективы в условиях жесточайшего кадрового голода. Поскольку заменить отсутствующих некем, нередко в журналистику попадают люди случайные, а то и вчерашние школьники, отчего уровень районка не блещет. Впрочем, вполне достаточно хоть раз посмотреть на условия работы сотрудников хотя бы нашей газеты, чтобы навсегда отвратить человека от самой мысли посвятить ей жизнь.

В помещении, арендованном у горсовета, работники сидят по нескольку человек в кабинете. Телефоны, оказывается, роскошь: поэтому их приходится по одному на несколько человек. У нас на всех три допотопные пишущие машинки. Мы экономим каждый литр бензина, потому что выделяют его на квартал 500 литров (площадь Беломорского района 12,8 тыс. кв. километров), а новую автомашину впервые за много лет мы получили лишь нынешней весной. Но в еще худших условиях полиграфическая база: помещение типография вот уже 23 года арендует, выплачивая за это ежегодно 1560 рублей.

Если газету, выпускаемую в таких условиях, читают, уважают, любят, надо отдать должное людям, занятым ее производством.

Но слабосильную районку ставят в условия эксперимента. Чтобы заниматься идеологией, осуществлять политическое воспитание масс (Ленин определил газету как коллективного организатора, пропагандиста, агитатора), газета прежде должна заработать для этого деньги. Вполне конструктивным в этой связи прозвучало предложение председателя Беломорского райисполкома П. М. Фетискина: передать часть средств бюджета районной партийной организации (часть наших партийных взносов) на издание газеты. К сожалению, поддержки оно не получило. Средства, и немалые, оказывается, будут затрачены на повышение окладов работникам партийного аппарата.

Заслуги прессы в перестроечных процессах отметили все. Надеемся и на свою скромную долю в этих изменениях. Но не пора ли от комплиментов перейти к конкретной заботе и помощи?

Ж. ЗАХАРОВА, Г. ИВАНОВА,
Л. МЕЛЬНИКОВА, А. САВИНОВ,
В. ФЕДОТОВА,
коммунисты редакции районной газеты «Беломорская трибуна»
Беломорск, Карельская АССР

■

Трагична судьба греков-понтийцев, пострадавших, как и другие народы, во времена сталинских репрессий. Мы также были выселены из своих домов, высланы из родных мест в Среднюю Азию и Казахстан. Много было пережито позора и унижений. Сейчас наше общество делает большой шаг вперед, но люди, привыкшие жить под пятой, открыв глаза, видят виновниками всех своих бед людей других национальностей, не по своей воле попавших на их земли. Нам ясно дают понять, что здесь мы чужие, поэтому многие из нас уезжают из Союза.

Те, кто уезжает, продают свои дома, имущество — все, что было заработано потом и кровью. Но обменять свои честно заработанные деньги на валюту они права не имеют, поэтому вынуждены их вкладывать в те товары, которые можно вывезти, например, в сувениры, в «матрешки». Оказавшись за границей без средств к существованию, бывшие советские граждане вынуждены на рынках торговать этими «матрешками». Это же унизительно и для них, и для нашего государства!

Я считаю, что выезжающим за границу гражданам необходимо обменивать на валюту хоть часть честно заработанных ими денег, чтобы человек, проработавший всю жизнь, не оказался нищим на улице.

И. ИОНИДИ
Чимкент

■

Я отнюдь не намереваюсь втянуть вас в дискуссию на еврейские темы, но хочу дать оценку некоторому мотиву, который настойчиво стал появляться на страницах вашего журнала в последнее время, как правило, мимоходом, в статьях, посвященных другим проблемам, но бывало и более целенаправленно. Нет нужды разбирать все эти публикации по порядку — ситуация видна достаточно убедительно на примере одной из них — письма крокодильского журналиста Марка Виленского, «еврея по паспорту и русского городского интеллигента» в его собственном определении.

В своем письме автор сообщает всем, кому знать сие надлежит, о причинах, побудивших его переделаться из еврея в русского. Разумеется, дай ему бог здоровья и успехов в «разговоре, письме, чтении, раздумьях и снах на русском языке» (снова авторские слова), но позиция «Огонька», публикующего подобные излияния, представляется мне резко тенденциозной и недобросовестной как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения простой общечеловеческой морали.

Поймите меня правильно: я отнюдь не посягаю на право Виленского и ему подобных печатно высказывать свои мысли. Я лишь считаю несправедливым, что слово предоставляется только им. Всем нам хорошо памятны спектакли 70-х годов, когда на телевизионные и газетные подмостки выводили нескольких перепуганных «советских граждан еврейской национальности», которые должны были заклеймить Израиль и «международный сионизм» и объявить, что сами они принадлежат к русской культуре не хуже других. Ну ладно, тогда был «застой», а что теперь? Вы, видимо, скажете, что в отличие от тех Виленский пишет искренно. Не спорю, ну и что? Представьте себе такую ситуацию: солидная иностранная газета время от времени публикует высказывания бывших русских, которые, подчеркивая свое русское происхождение, сообщают, что ничего русского в них нет, что они по духу, скажем, французы, «чем и довольны». Если вы будете честны, то не сможете не признать, что расценили бы позицию такой газеты как целенаправленно антирусскую. А если бы автор какого-нибудь из таких писем еще вдобавок клялся, что выступает от имени большинства русских? Что бы вы сказали тогда? Ваш же Виленский имеет наглость (и глупость) утверждать, что «таких, как он», то есть отрекающихся от своего народа, среди евреев больше 80 процентов — все говорящие по-русски евреи Советского Союза! Ну-ка, положа руку на сердце: осмелились бы вы напечатать письмо, в котором подобное оскорбительное утверждение было бы сделано применительно к любому другому народу, пусть даже в массе своей говорящему по-русски?

Когда, например, журнал «Наш современник» (№ 3 1989 г.), рассуждая об изначальной порочности еврейской национальной культуры и надергав для подстраховки обрывочных цитат из «классиков марксизма», проводит мысль, что, дескать, единственное решение еврейского вопроса — в исчезновении еврейского народа, никаких претензий у меня к журналу нет: почему бы ему не высказать свое мнение, тем более в редакционной статье? Но когда вы печатаете, в сущности, то же самое, подавая это как мнение народа да еще подсовывая в качестве рупора человека с еврейской фамилией — это, простите, нельзя назвать честной журналистикой.

А. ЮРОВСКИЙ
Иерусалим

Завершая этот год, я с удовлетворением хочу отметить, что мы в «Огоньке» практически не реагировали на частую и явную ложь, которой подвергались со стороны изданий определенного сорта. Не намерены делать этого и впредь. Тем не менее хочу подчеркнуть, что в начале декабря оскорбительную неправду в очередной раз опубликовала и пытается распространять московская писательская многотиражка. Если бы ложь эта имела отношение исключительно и лично ко мне или журналу, ее можно было бы снова проигнорировать. Но в данном случае оскорблены также уважаемые мною общественные деятели из г. Львова, с которыми, к сожалению, ни прежде, ни теперь мне не приходилось быть близко знакомым. Они уже достаточно натерпелись в своей жизни от беззаконий, чтобы подвергаться унижению новой, пусть многотиражкиной, но ложью.

В. КОРОТИЧ



Наш адрес: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Наталия ИЛЬИНА

ДОБРЫЙ СОВЕТСКИЙ ЮМОР



В редакцию «Крокодила» я впервые вошла ранней весной 1950 года. Незадолго до этого журнал объявил конкурс на лучший фельетон, я откликнулась, премии не получила, и фельетон опубликован не был, но в письме на адрес Литературного института редакция пригласила меня зайти.

С бьющимся сердцем ступила я на порог серого здания на улице «Правды». В просторном холле курят и болтают счастливые сотрудники «Крокодила»; спрашиваю, как пройти к главному редактору, объясняют. Коридор, темно-красные ковровые дорожки, двери, двери, неужели редакция раз в декаду выходящего журнала занимает целый этаж, неужели тут работает столько народу? Человек десять, включая корректора и курьера, делали в годы войны ежедневную газету «Новая жизнь» в Шанхае, а уж помещение у нас было — вспомнить страшно!

Какие же великолепные условия создает правительство этой страны для своих журналистов, как заботится о них! Велика, светла комната перед кабинетом главного, там двое, слева — немолодой человек, ответственный секретарь (как я позже узнала), справа — молодая секретарша, ей было сказано: «Верочка, доложи!» (еще много лет нам с ней предстояло стареть на глазах друг у друга), Верочка доложила, главный свободен, я вхожу. Это не кабинет. Это зал. Зал, устланный коврами, увешанный картинами, из чего-то слепленная красная голова крокодила, отверстая пасть, направленные на входящего вилы, множество стульев у длинного стола, упертого торцом в стол письменный, а за ним...

Человек, за ним сидевший, был очень мал ростом, очень худощав, он приподнялся мне навстречу (тут-то я его и разглядела), протянул мне маленькую руку, а затем вновь почти исчез за своим огромным столом, лишь плечи виднелись и лысеющая с зачесами голова. Узкое лицо, впалые щеки, возраст неясен...

Мне было сказано, что жюри конкурса мой фельетон отметило, он хорошо написан — как ангельское пение, прозвучали для меня эти слова,— но для опубликования не подошел. Никаких обобщений в советском фельетоне быть не должно. В химчистке вещь кли-

ента испортили, стоимость возместить отказались, разговаривали грубо... Но речь-то идет не о частной лавочке, а о государственном предприятии, а значит, обобщения неуместны! Критика должна быть с адресом: номер химчистки, фамилия заведующей, фамилия приемщицы. Отдельные нерадивые работники в сфере бытовых услуг имеются, но именно ОТДЕЛЬНЫЕ, а если не названы имена, тень ложится и на тех, кто работает хорошо, обижает их...

Вот, значит, какие требования предъявляются к советскому фельетону, это непривычно мне, но я научусь, всему научусь, дайте мне такую возможность!

К тому же, продолжал главный редактор, политическая обстановка сегодня сложна чрезвычайно. Враги только того и ждут, чтобы им подкинули какой-нибудь нас компрометирующий материальчик...

Все объяснилось. Мой фельетон не подошел, ибо мог подкинуть врагу материальчик, компрометирующий нашу сферу услуг. Писать, значит, надо как-то иначе... Я была счастлива, что нахожусь в этом роскошном кабинете, что со мною говорит сам главный редактор, только бы разговором все не кончилось, только бы... Стать сотрудником советского сатирического журнала — вот о чем я мечтала. В этом наиболее мне близком жанре я уже много всего написала, но сколько же среди этого «многого» чепухи! Ведь где я писала? В Шанхае! У кого там было учиться? А здесь, рядом с лучшими сатириками страны... Безумно боясь, что редактор вот-вот простится со мной навсегда, в отчаянной попытке поднять свои акции, я пробормотала, что знаю английский язык. Сообщение заинтересовало редактора. Была нажата кнопка звонка, возникла Верочка, ее попросили пригласить редактора иностранного отдела.

Явился. Темноволос, голубоглаз, лет сорока с небольшим, излучает энергию, излучает добродушие. Тряхнул мою руку, сел лицом ко мне, боком к главному редактору — в чем дело? Ты все плачешься, что сотрудники у тебя слабые, отдел трудно вести, вот тебе подкрепление. Учится в Литинституте на втором курсе, знает английский язык. (Господи, неужели они примут меня в свои ряды, господи!) Английский язык? Интересно! Где изучали? В Харбине. Затем в Шанхае. Я всего два года оттуда. Приехала с репатриацией.

Это сообщение не обрадовало моих собеседников. Теперь они не смотрели на меня. Они озабоченно и вопросительно смотрели друг на друга. «Ну ведь не в штат же,— пробормотал редактор иностранного отдела.— Сдельно. И можно без подписи...» Главный откинулся в своем кресле. Тревога и сомнения отражались на его маленьком бледном лице.

Понимала ли я в те минуты, чего эти двое опасались? Понимала. Ведь вот и в Литинститут без рекомендательного письма Симонова меня бы не допустили. Мой отец воевал на стороне белых. Мои родители эмигрировали. И пусть моей вины тут нет, а все равно — виновата. Не тут росла, не тут воспитывалась. Человек, явившийся из-за границы, подозрителен, будь он хоть героем Сопротивления!

— Рискнем! — внезапно промолвил главный редактор.— Рискнем!

Он выпрямился в кресле. Он поборол свои сомнения. Глаза его горели отвагой. Он шел на риск. Он и в самом деле шел на риск, допуская вчерашнюю эмигрантку в святое святых советской печати. На это мужественное решение, несомненно, повлияло то, что я училась в Литинституте. Значит, в случае чего за отсутствие бдительности поплатился бы институт, давший мне статус студентки и московскую прописку. Но и еще кое-что повлияло, о чем я тогда знать не могла...

Во второй половине сороковых годов одно за другим гремели грозные постановления ЦК. Клеймились свернувшие со «столбовой дороги соцреализма» литераторы, композиторы, художники и режиссеры. Постановления имели далеко идущие последствия. В сорок девятом году начали уничтожать Камерный театр Таирова. Театр находился на Тверском бульваре, бок о бок с Литинститутом, в актерскую столовую мы, студенты, бегали обедать, я была там, рядом, когда убивали театр, но убийства этого не заметила. Незадолго до этого убили театр Михоэлса, а заодно его самого, но и это прошло мимо меня. Мною владело одно желание: стать здесь своей, вписаться в эту жизнь, в правду, которой я хотела верить и верила... Постановлений насчет «Крокодила» не было, но где-то, кем-то и за что-то этот журнал подвергся критике. Были приняты меры: снят главный редактор и еще несколько сотрудников, возглавлявших отделы. На смену пришли люди, либо имевшие малый журналистский опыт, либо не имевшие его совсем. Среди них два бывших инженера и один бывший директор рынка. Не умеют писать? Ничего, научатся. Незаменимых нет. Журнал держался на плеяде великолепных художников-сатириков: Бродаты, Ганф, Горяев, Каневский, Кукрыниксы, Сойфертис... А что касается литературы...

Своими рассказами и фельетонами журнал украшали известные литераторы, члены Союза писателей. Журнал нуждался и в коротких заметках. Но известные литераторы до таких мелочей не снисходили, заметки оплачивались небогато, нередко шли без подписи автора. Иностранный отдел журнала в основном состоял из таких заметок, и мало-мальски опытные авторы были там очень нужны. Поэтому-то смелое решение главного редактора допустить меня на страницы журнала обрадовало заведующего отделом. Вот и славно! Пошли ко мне! Введу вас в курс дела!

Идем по ковровой дорожке коридора, мимо дверей, одну из дверей передо мною открывают, вхожу, этот кабинет куда меньше, чем у главного редактора, но тоже просторен, светел, и ковер, и разноцветные телефоны на письменном столе. Садитесь! Я села. Сел за свой стол и завотделом. Глядя на меня с приязнью, он вдруг усмехнулся, головой качнул: «И английский язык знает, надо же!» Его, видимо, развлекало, что перед ним сидит существо, способное объясниться на чужом языке... Отдел, между прочим, совершенно не нуждался в людях, знающих иностранные языки. За те годы, что я сотрудничала в «Крокодиле», один-единственный раз мелькнул передо мной американский журнал «Тайм», лежавший на столе редактора. Обложка была мне знакома — в Шанхае я не раз видела этот журнал и издали узнала его. Но только глянуть успела, как «Тайм» был поспешно убран: непосвященным глазам не годилось видеть буржуазную печать. Зачем попал «Тайм» в редакцию «Крокодила» — не знаю, но обращались с ним, как с бомбой, как с ежом, как с бритвой обоюдоострою...

Заведующему иностранным отделом я дам вымышленное имя: Виктор Степанович. Его давно нет в живых. Об этом добродушном и по-своему честном человеке я храню теплую память. И намека в нем не было на цинизм. Несмотря на все то, чему он был свидетелем, он сохранил (да он ли один?) гипнотическую уверенность, что мы построили справедливое общество.

За границей он отроду не бывал, чужих языков не знал, журналистский опыт его был ничтожен: до появления в редакции «Крокодила» работал в далеком провинциальном городе, в области, от журналистики далекой. Так, изредка, между делом, что-то пописывал, обнаружив в своих писаниях природную юмористическую жилку, чем и обратил на себя внимание «Крокодила», остро нуждавшегося в новых сотрудниках. Член партии, анкетные данные великолепны, не подвергался, не состоял, не был, не... И Виктор Степанович приглашен на постоянное сотрудничество в «Крокодил». Почему именно ему поручили возглавлять иностранный отдел — для меня загадка, по сей день не разгаданная...

И вот я сижу в прекрасном кабинете, с ковром и телефонами, а хозяин кабинета весело и доброжелательно объясняет мне мои будущие обязанности. Я слушала, вникала, а в голове моей в эти минуты проносилось: господи, неужели?.. Сегодня же напишу маме в Шанхай... Мама, ты только подумай, меня приняли... нет, лучше подождать, вот когда я впервые напечатаюсь... боже мой, могла ли я надеяться...

Отобранные редактором телеграммы ТАСС, касающиеся международной жизни, следовало излагать иронически, издеваясь над политикой западных стран, их нравами, их образом жизни. Размер сатирической заметки — три четверти машинописной страницы, ни строчки больше.

* * *

Зимой 1987/88 года, готовя для печати сборник сатирической прозы, я вспомнила свои первые шаги в этом жанре, сделанные в советской прессе. Лишь с 1955 года я стала писать то, что и сегодня можно без натяжки назвать «фельетоном», а до этого... Впрочем, мне кажется, в начале пятидесятых годов фельетонов — так, как я понимаю это слово,— и вообще никто не писал! На летучках «Крокодила» часто звучали слова: «Юмор нам нужен. Но какой? Наш добрый, положительный, советский юмор!» Д. И. Заславский в одной из своих статей уведомил читателей об исчезновении в нашей стране Чичиковых, Ноздревых, Хлестаковых, Городничих и прочих гоголевских персонажей. В обществе, где отсутствует безработица, где нет эксплуатации, где, короче говоря, так вольно дышит человек, исчезла питательная среда для появления Чичиковых. Ныне их можно встретить лишь за рубежом: отсюда ясно, что у советского сатирического журнала иные цели, иное лицо, чем у буржуазных изданий того же жанра. Каким было лицо журнала? Прошли десятилетия, и черты этого когда-то близкого мне лица стерлись в памяти. Мне захотелось его вспомнить, и я провела несколько дней в читальне, листая старые подшивки «Крокодила», вглядываясь в эти полузабытые черты...

Страницы «Крокодила» той поры были украшены именами тех, кто числился ведущими сатириками страны, и по привычке числится до сегодня. Это Ленч, Нариньяни, Рябов, Карбовская, Ласкин и другие. Что же они тогда писали? Писали много. Но я ограничусь двумя примерами прозы, не называя имен авторов.

Вот очерк, посвященный нашему типичному колхозу, озаглавленный так: «Путешествие в веселую жизнь». Подъезжая к деревне, автор «Крокодила» видит, как «свежевыбеленные хатки весело выглядывали сквозь листву». Затем беседует с председателем колхоза. Весел и председатель. Нет, он не скрывает того, что не все гладко в его хозяйстве. «Трудности? Есть! Но это оттого, что хозяйство вверх растет!»

В веселой жизни советских горожан тоже встречаются свои трудности. Никак не может одна милая дама решить, куда ей ехать отдыхать, а заодно и похудеть. Сочи? Ялта? Кисловодск? В результате едет на Рижское взморье. Читателя приглашают усмехнуться над непоследовательностью милой дамы — здесь добрый юмор рассказа. Усмехнется читатель, но и порадуется. Широка страна наша родная, всего в ней много, и курортов тоже. Куда хочешь, туда и едешь. Здесь идейность произведения...

(А писалось это в 1951 году, когда тысячи и тысячи людей за казенный счет ехали совсем не туда, куда им хотелось...)

Около Белорусского вокзала воздвигнут памятник Горькому. «Крокодил» немедленно откликается на это событие в культурной жизни столицы:

Алексей Максимыч рядом, зримо
Вместе с нами в городе родном.
Люди каждый день проходят мимо
И с любовью думают о нем.

Эти строки написаны двумя истинно одаренными поэтами-сатириками. Незадолго до конца войны они начали работать в соавторстве. Один из них за свои остроумные басни был в 1933 году арестован и сослан. Срок ему дали небольшой, времена были еще «вегетарианские», по выражению Ахматовой, позже людям за меткое слово приходилось платить куда дороже, а тут — всего три года! Всего на три года отрывали человека от семьи, от близких, от дома, от привычной работы — какие пустяки, не правда ли? Однако домой, в Москву, баснописцу удалось вернуться лишь спустя десять лет. Вернулся он, естественно, перевоспитанным. Его новый соавтор в ссылке не был, он перевоспитался, наблюдая судьбы других остроумцев... Между прочим, в конце сороковых и в начале пятидесятых годов книги Ильфа и Петрова нельзя было достать ни в одной библиотеке. Не выдавали и все, а чем это объясняли, что именно врали,— не помню. Говорили, вероятно, что-нибудь уклончивое вроде: «На руках!» или: «В переплете!»

Перевоспитанные соавторы получили задание восхититься новым снижением цен. Восхитились:

Вот как заботится страна
О нашем общем благе,
Поскольку снижена цена
И все дешевле значит.

Судя по этим беспомощным виршам, нелегко далось восхищение двум поэтам.

А вот еще один характерный для того времени рисунок: деревенская улица. Мимо «Агитпункта» идут две молодые колхозницы. Одна говорит другой: «На прошлых выборах ты агитатором была, а теперь за тебя агитируют!»

Это образцы положительного советского юмора. Натужно добрая улыбка на балаганной физиономии журнала. Но вот улыбка исчезает. Брови хмурятся. Прекрасна наша жизнь, но кое-что из проклятого прошлого еще путается под ногами, еще мешает нам достигнуть совершенства!

На страницах сатирического журнала позволялось обличать отдельных бюрократов, очковтирателей, мелких жуликов, мужей, уклоняющихся от уплаты алиментов, а также тех, кто упорно не желает понять, что советское — это, значит, отличное! Рисунок: на полу валяется сломанный стул. Мать гневно спрашивает маленького сына: «Твоя работа?» — «Нет, папина!»

Видимо, в журнал часто приходили жалобы на плохой ремонт тракторов, ибо, листая номера за 1951 и 1952 годы, я с тракторами столкнулась трижды. «Куда это столько народу на отремонтированном тракторе едет?» — «А это ремонтная бригада. Вдруг трактор не доберется до места назначения...» Ну не смешно, зато тема нужная!

Бесхозяйственность — иногда встречающаяся — обличается таким способом. На заводском дворе под снегом гниют ценные механизмы, а идущий мимо директор наклонился поднять кем-то уроненный гривенник. Подпись: «Деньги на земле не валяются!»...

Сегодня так и хочется воскликнуть: «Валяются, дорогой «Крокодил», валяются! Сорок лет прошло, а они все валяются!»

Есть еще у нас и отдельные некомпетентные руководители, которым кто-то оказывает покровительство. «Где директор катка?» — «Поскольку он поскользнулся на плохой организационной работе, то теперь вынырнет директором бассейна!» Директор катка — невелика птица, руководителей более высокого ранга, не на своих местах сидящих, «Крокодил» трогать не смел... Несутся годы, идут десятилетия, одних неумелых руководителей сменяют другие, столь же неумелые, столь же безнаказанные, живуч этот пережиток,

никак мы от него не освободимся...

Это все — легкая, поверхностная критика отдельного и нетипичного, без указания имен провинившихся и их должностей. Но уж если в те годы имена назывались, последствия для названных могли быть самые страшные! Тут не улыбка и даже не хмурые брови, тут «Крокодил» метал молнии... Вот две сестры-спекулянтки, на свои нечестно заработанные деньги дом себе в деревне выстроили. Статейка, автор которой пригвождает к позорному столбу спекулянток, озаглавлена: «Дом сестер таких-то». Фамилии названы. Мало того, опубликованы фотографии, и предприимчивых сестер, и их дома! Именно фотографии — тут дело уголовное, и «Крокодил» в услугах насмешников-художников не нуждается! Думаю, что сестер разоблачили их бдительные соседи. Они же, надо полагать, и снабдили журнал фотокарточками. Какие именно последствия имела эта публикация, не знаю, но уверена: плохо пришлось сестрам-домовладелицам!

А вот это изменилось! Молнии, посверкивающие со страниц газет и журналов, ныне никого наповал не убивают, слава богу! Сегодня выступления прессы и оспорить можно. Не сравнить с тем, что было тогда! Тогда мы жили в полном единомыслии, ЧТО нам думать и КАК нам думать — указывала никогда не ошибающаяся советская печать. Велика была сила «Крокодила», тяжело пожатие каменной его десницы! Сотрудники журнала позволяли себе шепотом острить в коридоре: «А что если опубликовать заметку: «По следам наших шуток — двоих расстреляли, троих посадили?»

А уж что делалось на страницах нашего веселого журнала в первые месяцы незабываемого 53-го года! Впрочем, в те дни, когда был разоблачен «заговор убийц в белых халатах», журнал никого веселить и не пытался. Не до шуток тут, знаете ли! Передовая статья от 30 января годится и для «Правды», и для любого другого издания. Читатель узнает из этой статьи, что одна группа врачей брала уроки «у лицедея Михоэлса»... продавая «за тридцать сребреников свою душу стране желтого дьявола» и заодно была «на откупе у шпионско-террористической организации «Джойнт», орудующей в США...». Другая группа «брала указания и фунты стерлингов» из Англии... «В народной памяти останутся они как олицетворение низости и подлости, как порождение Иуды!»

(В стране, где Библия была отовсюду изъята, где росли дети, понятия не имевшие о священном писании, на страницах печати то и дело поминался Иуда с его знаменитыми сребрениками... Интересно знать, как воспринимались эти слова непросвещенным читателем? Ему, возможно, казалось, что «Иуда» — это попросту ругательство...)

Грозная передовая кончалась так: «Создавая материальные и духовные ценности, советские люди должны помнить, что капиталистический мир еще существует и яростно борется за то, чтобы продлить свое существование».

Со следующего номера (от десятого февраля) начались и долго не прекращались призывы к бдительности и приглашения к доносительству. Об этом твердили рассказы, заметки, стихи, рисунки. Вот двое мужчин встретились в химчистке и, стоя в очереди, легкомысленно болтают о делах своих предприятий. «На груди у приемщицы рубином блеснул комсомольский значок»,— как бы мимоходом замечает автор. Читатель намек понял. Рубин говорит о том, что у приемщицы есть дела поважнее, чем прием вещей у населения. Ее комсомольский долг — прислушиваться к разговорам, ведущимся в очереди. Ясно, что девушка с рубином, сдав смену, немедленно ринется куда следует... Художники дружно изображали ротозеев: один, разбросав на столе секретные бумаги, вышел, не заперев дверь кабинета, другой — забыл сейф запереть, третий — еще что-то не так сделал... Все это продолжалось вплоть до номера от десятого марта. Тут уж тем более не до шуток: скончался вождь народов!

Номер состоит из призывов «еще теснее сплотить ряды», а также из цитат: приводятся отрывки из выступлений Берии и Молотова.

Со следующего номера «Крокодил» принимается за старое: бдительность, бдительность и еще раз бдительность!

«Крокодил», как зачарованный, продолжает гнуть свою линию насчет происков врагов, как внутренних, так и внешних...

Врагами внешними занимался в журнале иностранный отдел, куда вносила свою лепту я.

Но это уже другой рассказ.

* * *

Появление в Болгарии сатирического журнала «Шершень» Д. И. Заславский приветствовал такими словами: «Растет семья социалистической сатиры, зубастой, задорной, жизнерадостной и боевой!»

Героями этой жизнерадостной сатиры были политические и военные деятели тех лет: Жюль Мок, Аденауэр, Эттли, Трумэн, Эйзенхауэр и другие. Их обличали, разоблачали, называли поджигателями войны и предателями интересов собственных народов, а сокращенно: «иудами». В компанию иуд ближе к 1953 году включили и Тито. Но главным врагом всего прогрессивного и человечного считалась Америка.

Вот как сурово отзывается об этой стране Заславский:

«В США права человека существуют только на бумаге. Американская конституция спрятана от народа, чтобы очистить место для фашизма».

«Не преданность стране, не талант, не ум делаются гарантией успеха, а пронырливость, наглость, предательство».

А это не Заславский. Это высказывается кто-то другой в заметке без подписи. Кто автор? Господи, уж не я ли?..

Но вот эта заметка подписана, ее определенно писала я. Какая-то из газет Херста одобряет закон Тафта — Хартли, запрещающий забастовки. «Г-н Херст верой и правдой служит своим уоллстритовским хозяевам! — восклицаю я и прихожу к выводу: — ...американский образ жизни запрещает инакомыслие!»

И в самом деле: запрещает! Вот, к примеру, из телеграммы ТАСС мы с негодованием узнаем, что в киосках Нью-Йорка не продают коммунистическую газету «Дейли уоркер»! Несчастные американцы лишены возможности знать правду. И все-таки «народ не даст себя провести!» «Народ не даст распахнуть ворота войны!»

Это упование на мудрость угнетенных народов служило обычно концовкой «сатирических» заметок.

Приведу еще пример моего тогдашнего натужного остроумия...

«Подполковник Мелвин Вурхис в часы досуга состряпал книжку «Корейские рассказы». Военизированный прозаик с нетерпением ожидал славы и денег... он смачно описывает сенсационные гнусности и зверства американцев в Южной Корее... обильно цитирует разные меморандумы и корреспонденции... элементы экзотики, щедро напиханные автором в рассказы, тоже явились немалым лакомством для издателей... хотел создать на войне свой портативный бизнес... не учел, что Уолл-стрит, пытаясь оправдаться перед американским народом, выдает грязную авантюру в Корее за «священный крестовый поход». Автору следовало загримировать американских интервентов под светлое воинство серафимов и херувимов. А он тут некстати вылез с портретами мутноглазых гангстеров».

Книги, о которой тут речь, я и в глаза не видела. Разносила ее, опираясь на цитаты, приведенные в телеграмме ТАСС. «Не читала, но скажу!» Характерный образ действия нашей печати не только тех лет, но и многих последующих...

Не часто удавалось мне попасть на страницы «Крокодила» со своею подписью. Но когда удавалось, я отправляла вырезку в Шанхай: мама, радуйся! Мама не радовалась. Она молчала, не высказывала своего мнения, лишь однажды не стерпела: «Что с тобой? Почему так странно, так непохоже на себя ты стала писать?» Сегодня ее горестное изумление понятно мне. Нагло-развязный тон, пошлости типа «смачно описывает», «обильно цитирует», «портативный бизнес» — все это и в самом деле далеко от моей обычной манеры.

Я тут же стала горячо оправдываться. Буржуазная печать — это одно, а советская — другое. Я учусь писать по-советски, вот и все!

Но самой-то мне нравилось, что я пишу и как? Тревожные сомнения, несомненно, были, но я не давала им воли. А тут еще меня похвалил известный критик!

Он был приглашен на обсуждение номеров «Крокодила» за полугодие. Коснувшись иностранного отдела, критик поздравил журнал с появлением «даровитого памфлетиста», назвав имя некоего Т. Р. И радостно просиял присутствовавший на обсуждении широколицый, в круглых роговых очках, не по-нашему одетый Т. Р. Он еще недавно был корреспондентом ТАСС в Вашингтоне, привез оттуда какие-то материалы, предложил их «Крокодилу», но облечь их в сатирическую форму не умел. Облекала я. Подписывался он. 70 процентов гонорара ему, 30 — мне. Я не гнушалась этой работой, напротив, радовалась, что и тут пригодилась журналу. Бывали дни, когда я заменяла заболевшую Верочку, сидя в предбаннике и перепечатывая авторские манускрипты. Был случай, когда на обсуждение не явилась стенографистка, ее работу выполнила я. Если бы мне предложили заменить уборщицу,— я бы и тут не дрогнула. Все бы смогла, все бы сумела, только не гоните меня отсюда, позвольте и дальше гордиться своей принадлежностью к лучшему сатирическому журналу страны! Однако то, что Т. Р. просиял, услыхав свое имя, и стал даже победоносно озираться,— это неприятно поразило меня. Он-то должен знать, что слова «даровитый памфлетист» к нему не относятся! Когда после смерти Сталина прошло некоторое время и обстановка стала ощутимо меняться, я попросила у Виктора Степановича позволения своим именем подписывать то, что я пишу. Он позволил, а потом со смехом рассказывал мне, как изумлен был Т. Р. Бормотал растерянно: «Что ж это? Товарищи так привыкли к моим фельетонам!»

Итак, я могла гордиться. Известный критик называл меня «даровитым памфлетистом». Маме не нравится, но мама не понимает задач, стоящих перед советской сатирой. А я вот научилась писать так, как здесь требуется. И в самом деле научилась, включившись в бездарный, бесцветный колорит советской печати тех лет. А кроме того, писала о том, чего не видела, чего не знала,— и слово мстило мне.

Но кто я рядом с Зощенко? А ведь и он, с его всему миру известным именем, занимался тем же, чем я, и как благо ощущал возможность печататься в «Крокодиле».

После весны 1954 года, после встречи с английскими студентами Зощенко был окончательно лишен огня и воды. А тогда, в начале пятидесятых, возможность немного подработать ему великодушно дали. Кое-какие деньги платили. Платили за то, чтобы он не делал того, что делать умел, и в своем жанре умел делать лучше всех!

Писать о местной жизни клеветнику Зощенко было заказано. Как и я, он должен был разоблачать «их нравы». Разоблачал.

Вот, к примеру, его маленький фельетон «Доходный юмор». Речь идет о книге юмористических рассказов некоего Д. Маккейна, которую Зощенко, конечно, в глаза не видел, опираясь, как и все мы, на цитаты из телеграммы ТАСС. «Не спрашивайте, где взять смех,— восклицает Зощенко, — если таковой почти бесследно исчез в Америке после смерти Марка Твена! Кроме того, всякое осмеяние попахивает политикой. Чего доброго обвинят в подрывной деятельности! А ведь это может пребольно хлопнуть не только по карману!»

Воображаю, с какой горькой усмешкой писал эти строки Михаил Михайлович! Но жить надо, и он писал, наступив себе на горло. Однако не в пример мне, с моей загипнотизированностью, понимал, ЧЕМ ему приходится заниматься... Но вот забавная мелочь, обнаруженная мною, когда я листала старые подшивки. Зощенко и мне в разное время были даны для «иронического изложения» две телеграммы ТАСС: в одной что-то заявлял один американский генерал, в другой — что-то заявлял другой американский генерал. «Генерал с подкупающей откровенностью заявил...» — иронизирую я. А у Зощенко сказано так: «...хрипло рявкнул генерал»... Прорывался все же индивидуальный почерк авторов...

Было нечто общее в его и моем положении. Мы стояли на иной, куда более низкой ступени, чем бодрые, веселые, уверенные в себе бывшие инженеры, бывший директор рынка и другие свежие силы, недавно набежавшие в редакцию «Крокодила». Ну и тем более, чем признанные сатирики тех лет, гордые члены СП, являвшиеся на заседания редколлегии в те дни, когда обсуждались их произведения. На эти заседания неизменно спускался со своего Олимпа член редколлегии «Крокодила», сотрудник «Правды» Д. И. Заславский. Он шествовал через предбанник, даже кивком не удостаивая тех, кто там находился, шел, глядя прямо перед собой своими много чего повидавшими и давно потерявшими стыд глазами, а свежие силы — завотделами — семенили следом, а главный редактор выскакивал навстречу и, маленький, тут же исчезал из вида наблюдавших, заслоненный массивной фигурой лучшего сатирика страны.

Этими наблюдавшими, которых Зас-

лавский не заметил, как не замечают мух, оказались однажды Зощенко и я. Я сидела за машинкой отсутствующей Верочки, а он, в тот ли день или накануне приехав из Ленинграда, зашел к Виктору Степанычу, но тот торопился на редколлегию. Либо зайти через час, либо ждать. Зощенко предпочел ждать. Оставить его одного в своем кабинете Виктор Степаныч не мог, мало ли какие там материалы, для постороннего глаза не предназначенные, журнал «Тайм», например! Бдительность и еще раз бдительность! Зощенко был отправлен в предбанник.

Впервые я увидела Зощенко за несколько месяцев до этого дня. Вот так же я сидела за машинкой, и не было Верочки, а ответственный секретарь находился у главного, и тут вошел незнакомец и спросил меня: свободен ли главный? Я сказала, что нет, предложила сесть и подождать и снова застучала на машинке. Незнакомец не интересовал меня. Мало ли кто тут ходит, мечтая пробиться на страницы журнала. Было приятно сознавать, что я тут своя, ну почти, почти своя... Вставляя новый лист в машинку, покосилась на незнакомца. Сидит сгорбившись, упершись локтями в колени, глаз не поднимая, ровный пробор коричневых волос... И только потом, когда он, побывав у главного, ушел, совсем ушел, вежливо мне поклонившись, ответственный секретарь задумчиво промолвил: «А между прочим, это был Зощенко!» — «Боже мой! Что же вы мне раньше не сказали. Я бы хоть... Хоть посмотрела бы на него как следует!»

И вот он вновь передо мной. Могу посмотреть на него как следует, пользуясь тем, что он не глядит на меня. Смугл, худощав, темноволос, и какое сумрачное, какое сумрачное лицо — да улыбается ли он когда-нибудь? Можно ли поверить, что этот печальный человек умеет смешить до слез? Он и Тэффи — мои самые, самые любимые... Я должна ему сказать об этом! «Михал Михалыч!..»

Поднял на меня свои сумрачные, с тяжелыми веками глаза. Ну а я затрещала. Ах, могла ли я думать, что удостоюсь чести печататься в одном с ним журнале! Зощенко слушал, не меняя спокойно-холодного выражения лица, слушал почти молча, ограничиваясь вежливыми междометиями. Я же была полна собой, своими чувствами, радостью, что вижу любимого автора.

(«Любимого автора». А ведь незадолго до встречи с любимым автором, а именно в октябре 1946 года, выходившая в Шанхае советская газета «Новая жизнь» опубликовала мою статью, где я горячо поддерживала доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».)

Вдохновившись своей болтовней и расхрабрившись, я спросила Зощенко: обращал ли он внимание на то, что пишу я? Обращал, оказывается. И — после паузы: «Суховато пишете».

Пройдет три года, и я опишу матери величественное явление Ахматовой на террасе голицынского Дома писателей, и как я глядела на нее, не веря, что передо мною и в самом деле она, живая, настоящая!

Ответов матери не помню. Но убеждена: она не поминала той статьи, где я обозвала Зощенко «пасквилянтом» и лишила Ахматову места в советской литературе. Не поминала, не попрекала — попреки я бы запомнила. Видимо, мать понимала, что со мной происходит, верила, что это ненадолго, что я изменюсь...

Я и менялась. В августе — сентябре 1954 года, сопровождая Ахматову в прогулках по Голицыну, я ни на минуту не забывала о своей давней статье, собиралась в своем грехе сознаться и — созналась. В ответ мне было сказано с усмешкой: «Что с вас взять? Ведь вас тут не стояло!»

А говоря с Зощенко, я свою статью и не вспомнила! Два оброненных им слова: «суховато пишете» на десятилетия оседают в памяти, все исходящее от этого человека, мною обруганного, мне важно, мне нужно. Заславский же, которого я в своих шанхайских статьях беспрестанно цитировала, с первого взгляда вызывает у меня неприязнь. Тогда я не была еще способна задуматься над отсутствием логики в своих чувствах, в своем поведении. Кто это сказал, что отказ от мышления есть отказ от себя?

* * *

Тем временем иностранный отдел «Крокодила» продолжал свою плодотворную работу, знакомя читателя с растленными нравами Запада и разоблачая происки империалистов. Вот Зощенко пишет фельетон «Иудушка», герой — английский премьер Эттли. Вот я пишу фельетон «Волк в овечьей шкуре», герой — американский президент Трумэн. Вот один известный писатель сочиняет рассказ об американском солдате, уличенном в измене Родине. Изменника с негодованием спрашивают: «Кто повлиял на тебя? Ты слушал песни Поля Робсона? Ты читал Говарда Фаста?..»

(В те годы мы носились с Фастом, постоянно переводили его. Он был наш человек. Ему тогда, как, впрочем, и многим другим интеллектуалам Запада, все у нас нравилось. Ни коллективизации они не заметили, ни голода начала 30-х, ни миллионных арестов. Но наконец Фаст что-то заметил, уж не помню, что именно! — и громко выразил свое неодобрение. Ломал руки переводчик, занимавшийся Фастом и собиравшийся безбедно дожить с ним до старости...)

Раз в декаду бывали так называемые «темные» совещания — от слова «тема». Художникам давались темы для рисунков, а подписи к ним предлагали литераторы, штатные и внештатные.

Зал для заседаний переполнен. Сидят вокруг стола и на стульях вдоль стен, смеются, курят, переговариваются. Присутствуют художники — приятные, воспитанные, некоторые уже немолодые люди. Присутствуют темисты — профессионалы, набившие руку на подписях к рисункам, но ничего другого сотворить не умевшие. Одного из них помню до сего дня. Дам ему вымышленную фамилию Пискарев. Мал ростом, широк в плечах, бедно и неряшливо одет... «Начинается!» — с улыбкой говорил кто-нибудь из художников, видя, как Пискарев извлекает из кармана бумажный рулон. Рулон разворачивается, превращаясь в длинный, узкий лист бумаги. Пискарев читает придуманные им подписи. Читает с паузами, обводя глазами зал. Глаза просят: остановите меня! Скажите: стоп, годится! Но зал молчит. Бывали дни, когда он так и уходил, скомкав свой бесполезный листок, но, случалось, одну, а то и две его подписи благосклонно принимали, и он сиял, и он был счастлив. Я мечтала увидеть свои строки, облагороженные рисунком одного из художников «Крокодила», кроме того, за подпись платили 200 рублей (больше, чем за заметку), но ничего остроумного придумать никогда не удалось, в этой области я оказалась совершенно бездарной.

Для иностранного отдела «Крокодила» темы брались, разумеется, из телеграмм ТАСС.

Радостная новость: на наших судах, находящихся за рубежом, разрешено создать избирательные участки. Счастливые моряки вместе со всем советским народом смогут участвовать в выборах. Дело художника — решить, что будет изображено на рисунке. Важно, чтобы читатель сразу увидел: судно наше, берег не наш. «Темист» придумывает остроумную подпись. Остроумная подпись такова: «Небывалый случай свободных выборов в США!»

А вот ТАСС сообщает страшную новость: американских детей обязывают доносить в ФБР на собственных родителей! Это как изобразить? Изображено так: на улице американского города встретились две дамы, одна просто дама, а другая — молодая мать с ребенком в коляске. Диалог дам: «Мой беби сегодня сказал первое слово!» — «Кому?» — «Полисмену!»

А вот еще сообщение: население Англии мерзнет, нет топлива. Художник изображает семью бедняков, одетую в живописные лохмотья. Бедняки жмутся друг к другу около погасшей печурки. Подпись: «В Англии нет топлива, потому что есть поджигатели».

Затем диалог двух французов: «Почему наш кабинет министров так часто падает?» — «Народ не поддерживает!» Молодцы французы! Недаром полтораста лет тому назад у них была революция. Не в пример нашей, ничем хорошим она не кончилась, и все же какое-то свободолюбие у этой нации сохранилось, борются как могут против своих бесчестных правителей...

...Листая недавно подшивки «Крокодила», я хотела выяснить: какие из этих подписей принадлежат перу Пискарева? Это выяснить оказалось невозможным. Подписи к рисункам давались без имени автора, под рисунком — лишь имя художника. Но блестящих художников тех лет и так можно узнать: Сойфертиса не спутаешь с Горяевым, Каневского — с Бродаты, а Ганфа — с Кукрыниксами. Их-то не спутаешь, а вот те, кто к рисункам придумывал подписи,— все на одно лицо! Пискарева тут не обнаружить. Его ли находка медленно ползущий трактор, отремонтированный на скорую руку? Пискарев ли придумал кабинет министров, который падает без поддержки народа? А этот перл насчет отсутствия топлива ввиду наличия поджигателей — его кто изобрел? Неизвестно. Будущему летописцу истории советской сатиры далеко не всех авторов удастся установить.

За три года работы в иностранном отделе я всего лишь раз усомнилась в том, что делаю... Следовало иронически изложить очередное сообщение ТАСС: президент Трумэн без охраны не появляется на улицах родных городов. Я сидела за машинкой, раздумывая, как бы смешнее поиздеваться над главой государства, который боится собственного народа, и внезапно что-то обожгло меня. Что? Арбат. Я жила в двух шагах от этой улицы, часто ходила по ней, и однажды непонятно откуда возникшие молодые люди стали нас, прохожих, теснить, загоняя в переулки, и никто, кроме меня, не спрашивал — почему? — но мне не отвечали, и, стоя в переулке, я видела, как пустеет арбатская мостовая, исчезает транспорт, а затем, после паузы, одна за другой промчались черные машины, и какая-то женщина молитвенно прошептала, что в одной из них едет товарищ Сталин, только никто не знает, в какой... Всем вокруг меня это казалось нормальным, а раз кажется нормальным другим, то казалось и мне, я же все время стремилась быть своей на этих улицах, в этих очередях, и в автобусах, и в метро. Почти полжизни я прожила в чужих городах, и наконец я дома, на родной земле, там, где все говорят по-русски. Моим дорогим соотечественникам эта громоздкая подготовка к проезду товарища Сталина кажется нормальной? И мне тоже! Но тут, сидя за машинкой, я испугалась. Мыслей своих испугалась. Почему надо издеваться над Трумэном, если и Сталин?.. Отогнать эти мысли! Не своего народа опасается Сталин, а врагов, которые могут среди народа затесаться. И даже не сам боится, а другие за его драгоценную жизнь боятся, вот они и организовали...

Этими заклинаниями я свои сомнения погасила и чего-то там о Трумэне насочиняла. Что именно? Маленький фельетон? Нет. По-видимому, заметку без подписи. Я хотела ее найти, листая подшивки, но не нашла.

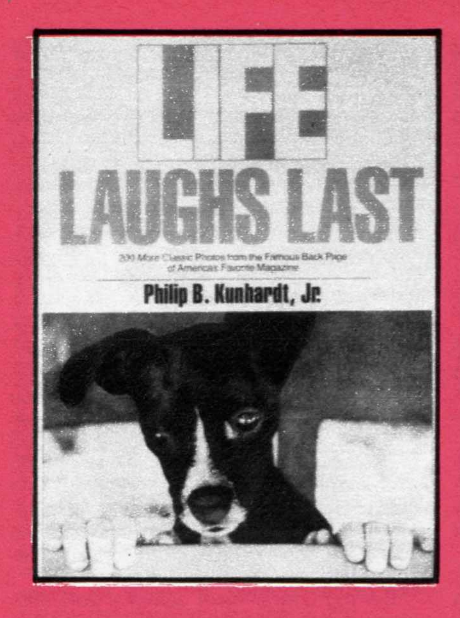
Пропуск в комбинат «Правды», присутствие на «темных» совещаниях помогали мне ощущать себя своей. Было, однако, нечто неуловимое, нечто такое, что не позволяло мне ощущать себя в этих кабинетах, на этих ковровых дорожках совсем уж своей. Почему-то каждый раз, являясь в редакцию за материалом, я ощущала неуверенность: дадут мне сегодня работу или нет? Поднял голову и улыбнулся Виктор Степанович: «Привет! Давайте садитесь, сейчас разберемся!» — и отпегло от сердца. Но вот я вошла, завотделом сумрачен, едва кивнул, глаз не поднял, читает что-то, хмурится... Сейчас мне скажут, что в моих услугах больше не нуж... Ничего подобного. Очень даже нуждаются. Сатирическая заметка, из рук вон плохо кем-то написанная. А тема нужная. Либо исправлять — сможете? Либо вновь написать — согласны? И — чувство великого облегчения. Смогу. Все смогу. На все согласна. Если не исправлю — напишу сызнова. Вот сейчас, сию минуту. И перепечатаю, как только у Верочки машинка освободится!

Виктор Степанович ценил и мою безотказную готовность исправлять чужое, и писать за других, и мой литературный опыт. Его стараниями зимой 1951/52 года меня включили во внештатную группу литературных консультантов. Я отвечала авторам, мечтавшим выступить на страницах журнала с фельетонами или баснями на международную тему. «Аденауэр мой, ты иди к себе домой!» — так начинал свое произведение один баснописец. «Пошел это раз Трумэн в баню, взял вихотку, намылил прюшко, глядит — прюшко-то и спало». А это — эпическое начало рассказа о буднях президента Трумэна. Свои ответы я не хранила, произведения, данные на отзыв, возвращала в отдел писем, но вот какие-то из них фразы я помню и сегодня, через сорок почти лет... Отвечать авторам следовало любезно, взвешивая каждое слово, они были агрессивны, чуть что — писали жалобы.

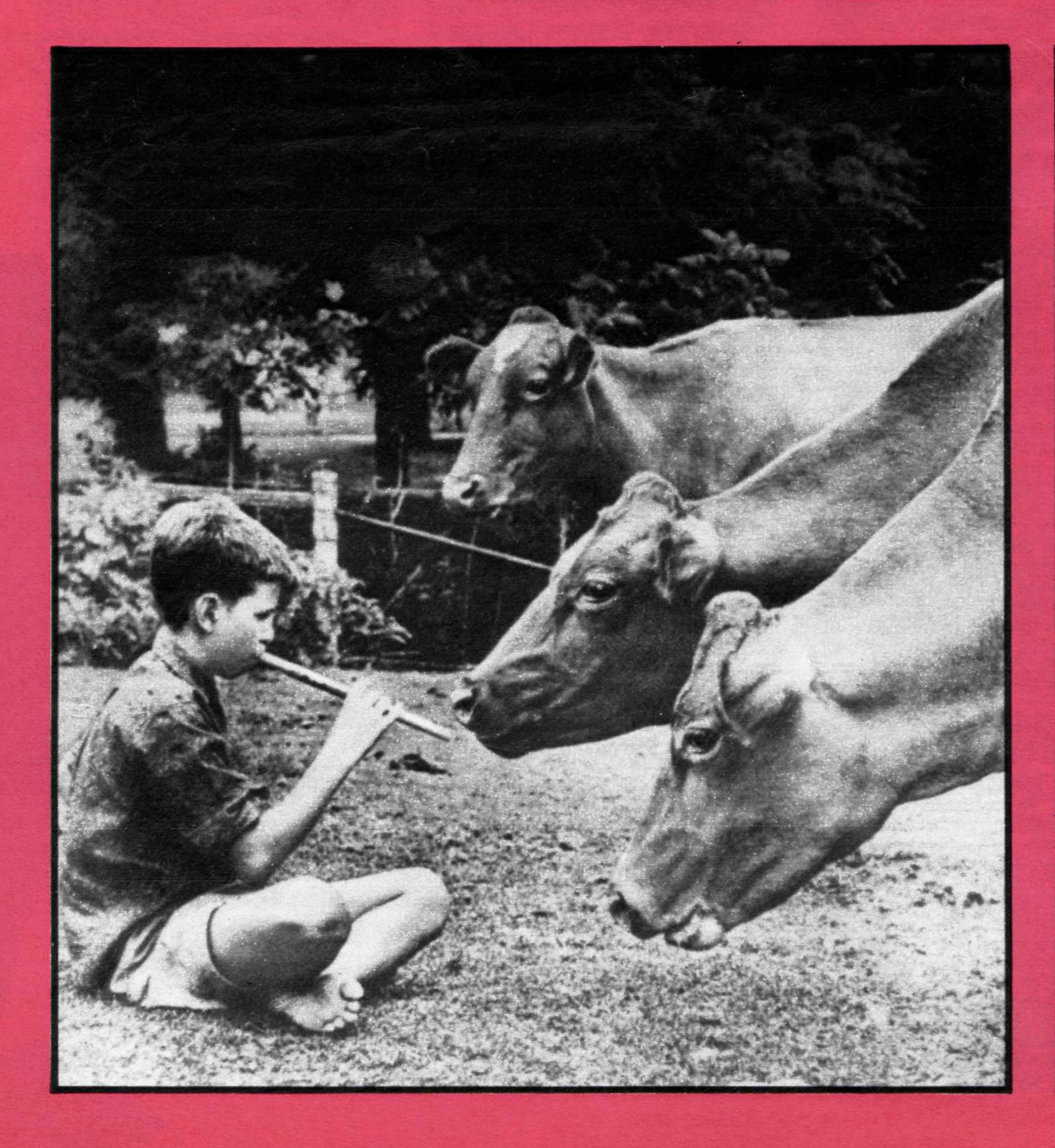
Зощенко ошельмован, Булгакова не печатали, книги Ильфа и Петрова библиотеки не выдавали, а перед малограмотными лебезили, перед ними заискивали. Характерная черта нашего общества тех лет. А впрочем, и лет последующих.

Задумывалась ли я тогда над этим? Нет. Тогда я об этом не задумывалась.





«Лайф» смеется последним

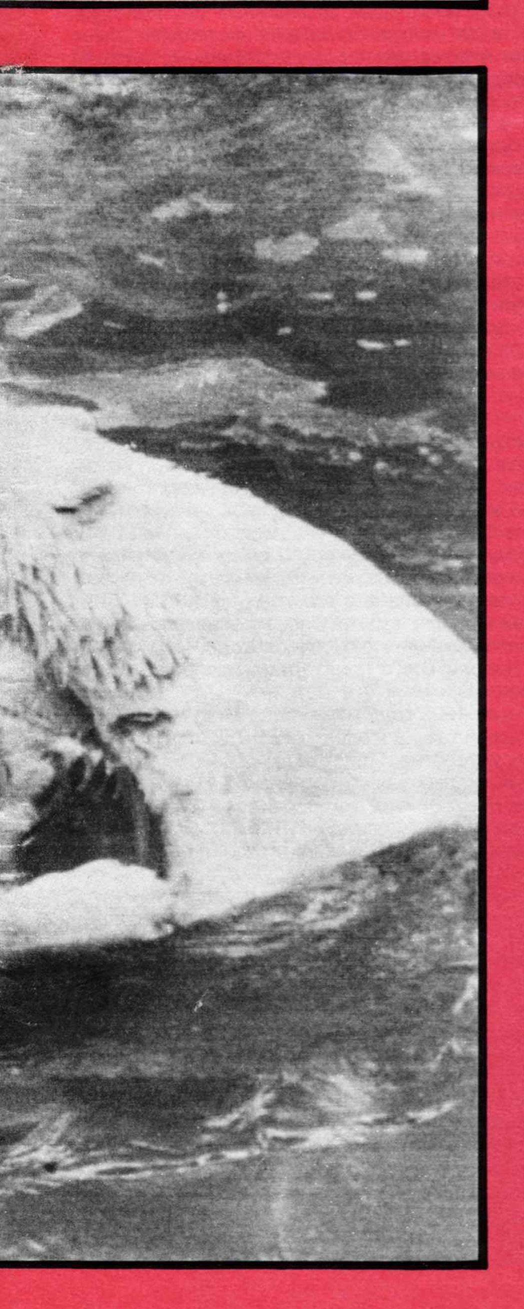


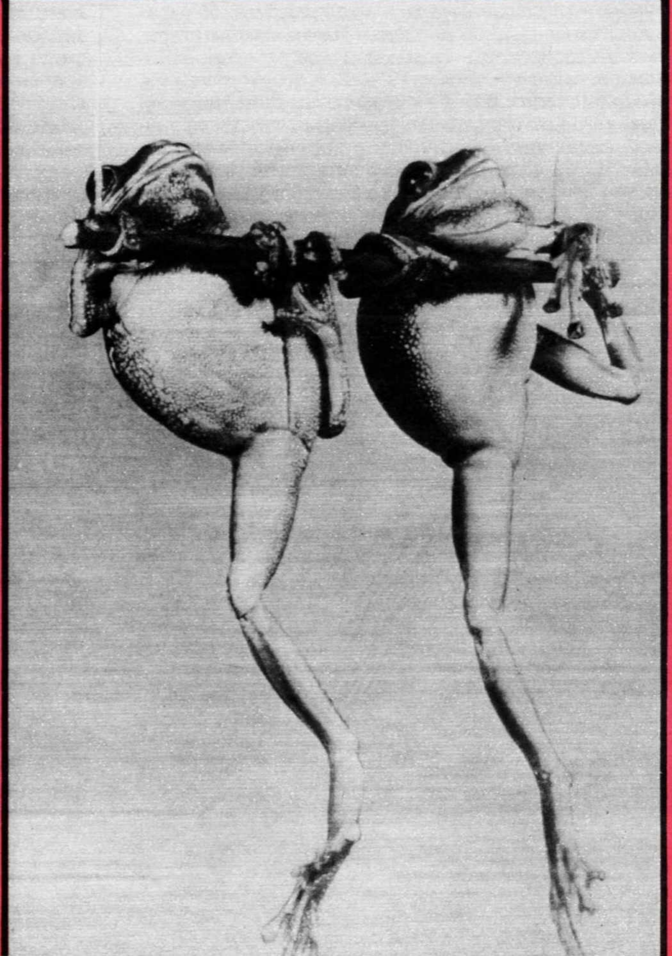


Так называется вышедшая в Америке книга, из которой взяты эти фотографии. Их в ней более двухсот, и задача каждой — рассмешить зрителя, склонного к юмору, и даже из самого мрачного выдавить на худой конец хотя бы улыбку... Знаю не понаслышке, что юмор в фотографии едва ли не самое трудное дело. Нескольким известным фотомастерам я задал один и тот же вопрос: «Сколько юмористических кадров удалось снять за десять лет?» Оказалось, не более десятка, то есть по одной в год. Вот уж действительно — «в грамм добыча, в год труды». Из книги мы выбрали кадры с животными. Но не потому, что над ними можно подшучивать безнаказанно, а потому, что их беззащитность каким-то образом объединяет совершенно разных людей одним теплым чувством, доброй улыбкой. Фотоюмор не требует перевода. Он всем понятен, он интернационален.

Итак, «Лайф» смеется последним, а это значит — смеется хорошо.

Юрий ЛУШИН







ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Александр ОРЛОВ

Я уже говорил, что многие считали Вышинского карьеристом, пролезшим в партию, но я никогда не ожидал, что он окажется таким беспринципным и лишенным всякой морали, что выразит готовность идти на все — оправдать человека, расстрелять его,— как будет угодно начальству.

Положение самого Вышинского было шатким. Пока в стране пользовались влиянием старые большевики, дамоклов меч партийных чисток постоянно висел над ним. Вот почему разгром оппозиции и преследование этих людей, сопровождавшее этот разгром, были Вышинскому на руку.

Сталину требовалось, чтобы во всех советских организациях были люди, готовые обвинить старых большевиков в антиленинской политике и помочь избавиться от них. Когда в результате такой клеветы ЦК увольнял их с ключевых постов, клеветники в порядке вознаграждения назначались на освободившиеся места.

Неудивительно, что в этой ситуации Вышинский смог сделаться «бдительным оком» партии и ему было поручено следить за тем, чтобы Верховный суд не отклонился от ленинского пути. Теперь ему не приходилось дрожать перед каждой чисткой: напротив, из партии исключались те, кто подозревался в сочувствии преследуемым ленинским соратникам. Вышинского в этом подозревать не приходилось. Его назначили генеральным прокурором, и он стал активно насаждать «верных членов партии» в судебные органы и прокуратуру. Естественно, там не оказалось места таким, как Николай Крыленко — создатель советского законодательства и вообще всей советской юридической системы. Он был объявлен политически ненадежным, хотя и не принадлежал ни к какой оппозиции. А Вышинский, годами раболепствовавший перед Крыленко, получил задание выступить на совещании юридических работников и осудить крыленковскую политику в области юстиции как «антиленинскую и буржуазную».

Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большевики один за другим убираются из Верховного суда. Крыленко исчез в начале 1938 года. Одновременно исчезла его бывшая жена Елена Розмирович, работавшая до революции секретарем Заграничного бюро ЦК и личным секретарем Ленина.

В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясен случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились глазами.

Я немедленно зашел в кабинет Бермана и попросил его помочь Галкину чем только можно. Берман сообщил мне, что Галкин арестован на основании поступившего в НКВД доноса, будто он осуждает ЦК партии за роспуск Общества старых большевиков. Донос поступил от Вышинского.

Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин еще раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие «нужный человек на нужном месте». В целом в государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счеты со старыми большевиками.

СТАЛИНСКИЕ УТЕХИ

Казалось, после того как Сталин «ликвидировал» Енукидзе, своего единственного и совершенно бескорыстного друга, ни одно из многочисленных сталинских преступлений уже не сможет нас удивить. Тем не менее, думаю, читателям будет небезынтересно узнать подробности еще одного убийства. Речь идет об убийстве Паукера, начальника кремлевской охраны, которого связывали со Сталиным особо доверительные отношения.

Паукер был по национальности венгром. Во время первой мировой войны его призвали в австро-венгерскую армию, и в 1916 году он попал в русский плен. Когда началась революция, Паукер не вернулся домой — у него не было там семьи, на родине его не ждали ни богатство, ни карьера. До армии он был парикмахером в будапештском театре оперетты и одновременно прислуживал кому-то из известных певцов. Он и сам мечтал о славе и любил хвастать, будто артисты оперетты находили у него «замечательный драматический талант» и наперебой приглашали выступать на сцене в качестве статиста.

Паукер, по-видимому, не преувеличивал. У него действительно были способности актера-комика, надо было видеть, как искусно подражал он манерам начальства и с каким артистизмом рассказывал анекдоты. Но мне казалось, что истинным его призванием было искусство клоунады и что на этом поприще он мог бы добиться славы, которой так неуемно жаждал...

Паукер вступил в большевистскую партию и был направлен на работу в ВЧК. Человек малообразованный и политически индифферентный, он получил там должность рядового оперативника и занимался арестами и обысками. На этой работе у него было мало шансов попасться на глаза кому-либо из высокого начальства и выдвинуться наверх. Сообразив это, он решил воспользоваться навыками, приобретенными еще на родине, и вскоре стал парикмахером и личным ординарцем Менжинского, заместителя начальника ВЧК. Тот был сыном крупного царского чиновника и сумел оценить проворного слугу...

Постепенно влияние Паукера начало ощущаться в ОГПУ всеми. Менжинский назначил его начальником оперативного управления, а после смерти Ленина уволил тогдашнего начальника кремлевской охраны Абрама Беленького и сделал Паукера ответственным за безопасность Сталина и других членов Политбюро...

Личная охрана Ленина состояла из двух человек. После того как его ранила Каплан, число телохранителей было увеличено вдвое. Когда же к власти пришел Сталин, он создал для себя охрану, насчитывающую несколько тысяч секретных сотрудников, не считая специальных воинских подразделений, которые постоянно находились поблизости в состоянии полной боевой готовности. Такую могучую охрану организовал для Сталина Паукер...

Абрам Беленький был всего лишь начальником охраны Ленина и других членов правительства. Он почтительно соблюдал служебную дистанцию между собой и охраняемыми лицами. А Паукер сумел занять такое положение, что членам Политбюро приходилось считать его чуть ли не равным себе. Он сосредоточил в своих руках обеспечение их продуктами питания, одеждой, машинами, дачами; он не только удовлетворял их желания, но к тому же знал, как разжечь их...

Со Сталиным Паукер был даже более фамильярен, чем с прочими кремлевскими сановниками. Он изучил сталинские вкусы и научился угадывать его малейшие желания. Заметив, что Сталин поглощает огромные количества грубоватой русской селедки, Паукер начал заказывать из-за границы более изысканные сорта. Некоторые из них — так называемые «габельбиссен», немецкого посола — привели Сталина в восторг. Под эту закуску хорошо идет русская водка; Паукер и тут не ударил в грязь лицом — он сделался постоянным собутыльником вождя. Приметив, что Сталин обожает непристойные шутки и антисемитские анекдоты, он позаботился о том, чтобы всегда иметь для него наготове их свежий запас. Как шут и рассказчик анекдотов он был неподражаем. Сталин, по природе угрюмый и не расположенный к смеху, мог смеяться до упаду.

Паукер подсмотрел, как внимательно Сталин вглядывается в свое отражение в зеркале, поправляя прическу, как он любовно приглаживает усы, и заключил, что хозяин далеко не равнодушен к собственной внешности и совсем не отличается в этом от обычных смертных. И Паукер взял на себя заботу о сталинском гардеробе. Он проявил в этой области редкую изобретательность. Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках, Паукер решил нарастить ему еще несколько сантиметров. Он изобрел для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник. Натянув эти сапоги и став перед зеркалом, Сталин не скрыл удовольствия. Более того, он пошел еще дальше и велел Паукеру класть ему под ноги, когда он стоит на Мавзолее, небольшой деревянный брусок. В результате таких ухищрений многие, видевшие Сталина издали или на газетных фотографиях, считали, что он среднего роста. В действительности его рост составлял лишь около 163 сантиметров. Чтобы поддержать иллюзию, Паукер заказал для Сталина длинную шинель, доходившую до уровня каблуков.

Как бывший парикмахер, Паукер взялся брить Сталина. До этого Сталин всегда выглядел плохо выбритым. Дело в том, что его лицо было покрыто оспинами и безопасная бритва, которой он привык пользоваться, оставляла мелкие волосяные островки, делавшие сталинскую физиономию еще более рябой. Не решаясь довериться бритве парикмахера, Сталин, видимо, примирился с этим недостатком. Однако Паукеру он полностью доверял. Таким образом, Паукер оказался первым человеком с бритвенным лезвием в руке, кому вождь отважился подставить свое горло.

Абсолютно все, что имело отношение к Сталину и его семье, проходило через руки Паукера. Без его ведома ни один кусок пищи не мог появиться на столе вождя. Без одобрения Паукера ни один человек не мог быть допущен в квартиру Сталина или на его загородную дачу. Паукер не имел права уйти от своих обязанностей ни на минуту, и только в полдень, доставив Сталина в его кремлевский кабинет, он должен был мчаться в Оперативное управление ОГПУ доложить Менжинскому и Ягоде, как прошли сутки, и поделиться с приятелями последними кремлевскими новостями и сплетнями...

В 1932 или 1933 году произошел небольшой инцидент, в результате которого открылось тайное сталинское пристрастие и в то же время особо деликатный характер некоторых поручений, исполняемых Паукером. Дело было так. В Москву приехал из Праги чехословацкий резидент НКВД Смирнов (Глинский). Выслушав его служебный доклад, Слуцкий попросил его зайти к Паукеру, у которого имеется какое-то поручение, связанное с Чехословакией. Паукер предупредил Смирнова, что разговор должен остаться строго между ними. Он буквально ошарашил своего собеседника, вынув из сейфа и раскрыв перед ним альбом порнографических рисунков. Видя изумление Смирнова, Паукер сказал, что эти рисунки выполнены известным дореволюционным художником С. У русских эмигрантов, проживающих в Чехословакии, должны найтись другие рисунки подобного рода, выполненные тем же художником. Необходимо скупить по возможности все такие произведения С., но обязательно через посредников и таким образом, чтобы никто не смог догадаться, что они предназначаются для советского посольства. «Денег на это не жалейте», — добавил Паукер.

Смирнов, выросший в семье ссыльных революцио-

Окончание. См. «Огонек» №№ 46—51.

неров, вступивший в партию еще в царское время, был неприятно поражен тем, что Паукер позволяет себе обращаться к нему с таким заданием, и отказался его выполнять. Крайне возмущенный, он рассказал об этом эпизоде нескольким друзьям. Однако Слуцкий быстро погасил его негодование, предупредив еще раз, чтобы Смирнов держал язык за зубами: рисунки приобретаются для самого хозяина! В тот же день Смирнов был вызван к заместителю наркома внутренних дел Агранову, который с нажимом повторил тот же совет. Значительно позднее старый приятель Ягоды Александр Шанин, чьим заместителем я был назначен в 1936 году, рассказал мне, что Паукер скупает для Сталина подобные произведения во многих странах Запада и Востока.

За верную службу Сталин щедро вознаграждал своего незаменимого помощника. Он подарил ему две машины — лимузин «кадиллак» и открытый «линкольн» — и наградил его целыми шестью орденами, в том числе орденом Ленина...

Паукер был очень экспансивным человеком, и ему трудно бывало удержаться и не рассказать приятелям тот или иной эпизод из жизни «хозяина». Мне казалось, что Паукеру, вероятно, даже не приходит в голову, что вещи, которые он рассказывает, дискредитируют его патрона. Он так слепо обожал Сталина, так уверовал в его неограниченную власть, что даже не сознавал, как выглядят сталинские поступки, если подходить к ним с обычными человеческими мерками...

Летом 1937 года, когда большинство руководителей НКВД уже было арестовано, в парижском кафе я случайно встретил одного тайного агента Иностранного управления. Это был некий Г. — венгр по национальности, старый приятель Паукера. Я считал, что он только что прибыл из Москвы, и хотел узнать последние новости о тамошних арестах. Присел к его столику.

— Как там Паукер, с ним все в порядке? — осведомился я в шутку, будучи абсолютно уверен, что аресты никак не могут коснуться Паукера.

— Да как вы можете! — оскорбился венгр, возмущенный до глубины души. — Паукер для Сталина значит больше, чем вы думаете. Он Сталину ближе, чем друг... ближе брата!..

Г., кстати, рассказал мне о таком эпизоде. 20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК—ОГПУ—НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет, пригласил на него Ежова, Фриновского, Паукера и нескольких других чекистов. Когда присутствующие основательно выпили, Паукер показал Сталину импровизированное представление. Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать. «Зиновьев» беспомощно висел на плечах «охранников» и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя глазами. Посередине комнаты «Зиновьев» упал на колени и, обхватив руками сапог одного из «охранников», в ужасе завопил: «Пожалуйста... ради Бога, товарищ... вызовите Иосифа Виссарионовича!»

Сталин следил за ходом представления, заливаясь смехом. Гости, видя, как ему нравится эта сцена, наперебой требовали, чтобы Паукер повторил ее. Паукер подчинился. На этот раз Сталин смеялся так неистово, что согнулся, хватаясь за живот. А когда Паукер ввел в свое представление новый эпизод и, вместо того чтобы падать на колени, выпрямился, простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый!» — Сталин не мог больше выдержать и, захлебываясь смехом, начал делать Паукеру знаки прекратить представление.

В июле 1937 года к нам за границу дошли слухи, будто Паукер снят с должности начальника сталинской охраны. В конце года я узнал, что сменено руководство всей охраны Кремля. Тогда мне еще представлялось, что Сталин пощадит Паукера, который не только пришелся ему по нраву, но и успешно оберегал его жизнь целых пятнадцать лет. Однако и на этот раз не стоило ждать от Сталина проявления человеческих чувств. Когда в марте 1938 года, давая показания на третьем московском процессе, Ягода сказал, что Паукер был немецким шпионом, я понял, что Паукера уже нет в живых.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я не принадлежу к какой бы то ни было политической партии или группе. В этой книге я не преследую никаких политических или узкопартийных целей. Моя единственная задача — предать гласности тайную историю преступлений, совершенных Сталиным, и таким образом восстановить те недостающие звенья, без которых трагические события, происшедшие в СССР, приобретают характер неразрешимой загадки.

Вплоть до 12 июля 1938 года я был членом Всесоюзной Коммунистической партии, и Советское правительство последовательно доверяло мне ряд ответственных постов. Я принимал активное участие в гражданской войне, сражался в рядах Красной Армии на Юго-Восточном фронте, где командовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу врага, и отвечал также за контрразведку.

Когда гражданская война кончилась, ЦК партии назначил меня помощником прокурора в Верховный суд. Здесь я принимал участие, между прочим, в разработке первого советского уголовного кодекса.

В 1924 году я был назначен заместителем председателя Экономического управления ОГПУ (в дальнейшем получившего наименование НКВД). На меня были возложены государственный надзор за реконструкцией советской промышленности и борьба со взяточничеством. Затем меня перебросили в Закавказье, в погранвойска, и я начал командовать подразделением, которое несло охрану границы с Ираном и Турцией.

В 1926 году меня назначили начальником экономического отдела Иностранного управления ОГПУ и уполномоченным госконтроля, отвечавшим за внешнюю торговлю.

1936 год ознаменовался началом гражданской войны в Испании. Политбюро направило меня туда — советником республиканского правительства — для организации контрразведки и партизанской войны в тылу противника. В Испанию я прибыл в сентябре 1936 года и оставался там до 12 июля 1938 года — дня, когда я порвал со сталинским режимом.

На тех должностях, что я занимал в ОГПУ—НКВД, мне удалось собрать, а затем и вывезти из СССР совершенно секретные сведения: о преступлениях Сталина, совершенных им, чтобы удержать в своих руках власть, о процессах, организованных им против вождей Октябрьской революции, и о его отношениях с людьми, чью гибель он подготовил.

Я записывал указания, устно даваемые Сталиным руководителям НКВД на кремлевских совещаниях; его указания следователям, как сломить сопротивление сподвижников Ленина и вырвать у них ложные признания; личные переговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, произнесенные этими обреченными в стенах Лубянки. Эти тщательно скрываемые секретные материалы я получал от самих следователей НКВД, многие из которых находились у меня в подчинении. Среди них был мой бывший заместитель Миронов (в дальнейшем начальник Экономического управления НКВД, ставший одним из главных орудий Сталина при подготовке так называемых московских процессов) и Борис Берман, заместитель начальника Иностранного управления НКВД.

В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без надежных помощников из НКВД. По мере того как рос список его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опасаясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937 году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреляны без суда и следствия почти все руководители НКВД и все следователи, которые по его прямому указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской революции. За ними последовали в небытие тысячи энкаведистов — те, что по своему положению в НКВД могли в той или иной степени располагать секретной информацией о сталинских преступлениях.

Будучи в Испании, я узнал об аресте Ягоды, наркома внутренних дел. Там же до меня дошли известия об уничтожении всех моих бывших друзей и коллег, и, казалось, вот-вот наступит моя очередь. Тем не менее я не мог открыто порвать со сталинским режимом. В Москве у меня оставалась мать, которая согласно варварским сталинским законам рассматривалась властями как заложница и которой угрожала смертная казнь в случае моего отказа вернуться в СССР. Точно в таком же положении была и мать моей жены.

На фронтах Испании, особенно когда я выезжал во фронтовую зону при подготовке наступления республиканских войск, я часто оказывался под сильной вражеской бомбежкой. В эти минуты я не раз ловил себя на мысли, что, если меня убьют при исполнении служебных обязанностей, угроза, нависшая над моей семьей и нашими близкими, оставшимися в Москве, сразу рассеется. Такая судьба казалась мне более привлекательной, чем открытый разрыв с Москвой.

Но это было проявлением малодушия. Я продолжал свою работу среди испанцев, восхищавших меня своим мужеством, и мечтал о том, что, быть может, Сталин падет от руки одного из своих сообщников или что ужас кошмарных московских «чисток» минует как-нибудь сам собой.

В августе 1937 года я получил телеграмму от Слуцкого, начальника Иностранного управления НКВД. В ней сообщалось, что секретные службы Франко и гитлеровской Германии разработали планы моего похищения из Испании, чтобы выпытать у меня сведения о размерах помощи, оказываемой испанцам Советским Союзом.

Слуцкий сообщал также, что НКВД собирается прислать мне личную охрану из двенадцати человек, которая отвечала бы за мою безопасность и сопровождала меня во всех поездках. Мне тотчас пришло в голову, что в первую очередь этой «личной охране» будет поручено ликвидировать меня самого. Я телеграфировал Слуцкому, что в личной охране не нуждаюсь, поскольку мой штаб круглосуточно охраняется испанской «гражданской гвардией», а за его пределами во всех поездках меня сопровождают вооруженные агенты испанской тайной полиции. Это, кстати, соответствовало действительности.

Советская личная охрана так и не была прислана, однако этот случай меня насторожил. Я начал подозревать, что Ежов, новый нарком внутренних дел, повидимому, приказал своим секретным «подвижным группам» убить меня здесь же, в Испании. Предвидя такой оборот, я послал во фронтовую зону одного из своих помощников с заданием отобрать из немецкой интербригады и доставить ко мне десяток преданных коммунистов, накопивших достаточный боевой опыт. Эти люди стали моими постоянными спутниками. Вооруженные автоматами и связками ручных гранат, подвешенными к поясу, они неотлучно сопровождали меня.



В октябре 1937 года в Испанию прибыл Шпигельгляс, заместитель Слуцкого. Не кто иной, как он, за три месяца до этого организовал в Швейцарии убийство Игнатия Рейсса — резидента НКВД, отказавшегося вернуться в Москву. Шпигельгляс, у которого жена и дочь оставались в Советском Союзе фактически в роли заложников, не был уверен в своей собственной участи и, вероятно, сам подумывал, как выйти из игры. Но это отнюдь не делало его менее опасным. У него не было в Испании никаких явных дел, и его приезд только укрепил мои подозрения, особенно когда я узнал, что он встречался в Мадриде с неким Болодиным, который, как выяснилось, был прислан в Испанию Ежовым в качестве руководителя террористической «подвижной группы».

Шпигельглясу и Болодину приходилось считаться с тем, что меня защищала моя собственная охрана, так что в случае покушения может возникнуть перестрелка с серьезными потерями для обеих сторон, к чему ни тот, ни другой не привыкли. Мне пришло в голову, не приказала ли Москва Болодину похитить мою четырнадцатилетнюю дочь и затем шантажировать меня, вынуждая вернуться в СССР. Мои мрачные подозрения настолько обострились, что я отправился в загородный дом, где жили жена с дочерью, посадил их в машину и отвез во Францию. Там, недалеко от испанской границы, мной была снята для них небольшая вилла. С ними я оставил надежного телохранителя из испанской тайной полиции, который заодно исполнял и обязанности шофера. Сам я вернулся к своей работе в Барселоне.

Я выжидал, откладывая свой разрыв с Москвой, поскольку сознавал, что, действуя таким образом, продлеваю жизнь моей матери и тещи.

Меня все еще не оставляла наивная надежда, что возможны какие-то перемены, что в Москве случится что-то такое, что положит конец кошмару бесконечного террора.

Наконец, Москва сама решила за меня. 9 июля 1938 года я получил телеграмму Ежова — в то время второго человека в стране, после Сталина. Мне предписывалось выехать в Бельгию, в Антверпен, и 14 июля подняться на борт стоявшего там советского судна «Свирь» для совещания с «товарищем, известным вам лично». При этом давалось понять, что прибыть туда я должен в машине нашего парижского посольства в сопровождении Бирюкова, советского генерального консула во Франции, который «может пригодиться в качестве посредника в связи с предстоящим важным заданием».

Телеграмма была длинной и мудреной. Ежов и те, кто перешел вместе с ним из аппарата ЦК в НКВД, были куда менее опытны, чем прежние энкаведистские главари, ныне ликвидированные. Эти люди так старались усыпить мои подозрения и делали это так неуклюже, что, сами того не желая, выдали свое тайное намерение. Было ясно, что «Свирь» станет моей плавучей тюрьмой. Я телеграфировал ответ: «Прибуду в Антверпен в назначенный день».

12 июля мои коллеги собрались перед нашим особняком в Барселоне, чтобы попрощаться со мной. Я чувствовал: они понимают, что меня ждет западня, и уверены, что я в нее попадусь.

Часа через два я был на французской границе. Попрощался с охраной и с агентом испанской тайной полиции, который привык повсюду сопровождать меня. Отсюда мой водитель-испанец доставил меня в гостиницу в Перпиньяне, где ждали жена и дочь. Мы сели в ночной экспресс и утром 13 июля прибыли в Париж. Я чувствовал себя так, словно сошел с тонущего корабля,— неожиданно, без заранее подготовленного плана, без надежды спастись.

Я знал, что НКВД располагает во Франции густой агентурной сетью и в течение сорока восьми часов агенты Ежова нападут на мой след. Значит, из Франции следовало выбираться как можно скорее.

Единственным безопасным пристанищем представлялась мне Америка. Я позвонил в американское посольство и попросил посла, Вильяма Буллита. Был как раз канун французского национального праздника — дня взятия Бастилии, и мне ответили, что посла нет в городе. Тогда, по совету жены, мы направились в представительство Канады. Здесь я предъявил наши дипломатические паспорта и попросил канадские визы под тем предлогом, что хотел бы отправить семью в Квебек — провести там летний отпуск.

СССР не имел с Канадой дипломатических отношений, так что можно было опасаться, что представительство откажет в просьбе. Но глава представительства, оказавшийся бывшим комиссаром Канады по делам иммиграции, отнесся к нам сочувственно. Он любезно вручил мне письмо от своего имени к иммиграционным властям в Квебеке и попросил оказать мне помощь.

Одновременно с нами в здании представительства оказался и канадский пастор, каким-то образом связанный с трансатлантическим судоходством. Он сообщил, что канадский теплоход «Монклэр» как раз сегодня отправляется из Шербура и еще осталось несколько свободных кают. Я бросился в билетное агентство, жена побежала в гостиницу, где оставалась дочь. Все трое мы едва успели на вокзал к отходу поезда. Но спустя несколько часов благополучно поднялись на борт теплохода, а еще через час с небольшим покинули Европу.

Моя дочь пускалась в это путешествие с легким сердцем. Она все еще оставалась в блаженном неведении относительно того, что произошло. Жена и я не знали, как объяснить ей, что она никогда больше не увидит своих подруг, обеих своих бабушек, Родину.

Начиная с 1926 года моя работа заставляла меня большую часть времени жить за границей, любовь моей дочери к России, родному народу ничем не была омрачена. Из-за ее болезни — она страдала суставным ревматизмом — у нее было мало возможностей наблюдать реальную жизнь, и о страданиях своих соотечественников, не говоря уж о жестокостях сталинского режима, она вовсе ничего не знала. Мы с женой никогда не стремились развеять ее иллюзии. Ей были свойственны глубокое отвращение к малейшей жестокости и бесконечное сочувствие любому человеческому страданию. Понимая, что из-за болезни ее жизнь может быть слишком коротка, мы старались утаить от нее правду — это относилось и к сталинской тирании, и вообще к несчастной доле русского народа.

Трудно было объяснить ей, что произошло с нашей семьей. Но она поняла. Она слушала нас, обливаясь слезами. Мир, который она знала, оказался выдуманным, ее иллюзии разлетелись в пух и прах. Она знала, что ее отец и мать отстаивали дело революции в гражданскую войну. Теперь ей было больно за нас. В один день она выросла и стала взрослой.

Сразу по прибытии в Канаду я написал большое письмо Сталину и копию его отправил Ежову. В нем я сказал Сталину, который лично знал меня еще с 1924 года, что я думаю о его режиме. Но главный смысл письма был в другом. Я ставил своей целью спасти жизнь наших матерей. Умолять Сталина сохранить им жизнь, взывать к его милосердию было бесполезно. Я выбрал другой путь, более подходящий, когда речь идет о Сталине. Со всей доступной мне решительностью я предупредил его, что если он посмеет выместить зло на наших матерях, я опубликую в с е, что мне известно о нем. Чтобы показать, что это не пустая угроза, я составил и приложил к письму перечень его преступлений.

Кроме того, я предостерег его: если даже я буду убит его агентурой, историю его преступлений немедленно опубликует мой адвокат. Хорошо зная Сталина, я был убежден, что он примет мои предупреждения всерьез.

Я вступил в игру, опасную для себя и нашей семьи. Но я был убежден, что Сталин отложит свою месть до тех пор, пока не достигнет наверняка поставленной им цели: похитить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он постарается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду мести, но только после того, как убедится, что его преступления останутся нераскрытыми.

13 августа 1938 года, ровно через месяц после исчезновения из Испании, я прибыл в Соединенные Штаты с дипломатической визой, выданной мне главой американского представительства в Оттаве.

По прибытии в США мы с моим адвокатом сразу же направились в Вашингтон. Здесь я сделал заявление комиссару по делам иммиграции о том, что порываю с правительством своей страны и прошу политического убежища.

Охота за мной началась тотчас же и продолжалась четырнадцать лет. В этом противоборстве на стороне Сталина были колоссальное политическое могущество и полчища тайных агентов. На моей стороне — только мое умение предвидеть и опознавать их уловки да еще самоотверженность и храбрость моих близких — жены и дочери.

Все эти годы мы избегали писать нашим матерям и даже нашим друзьям в СССР, не желая подвергать их жизнь опасности. Никаких известий об их судьбе мы не имели.

В начале 1953 года мы с женой решили, что матерей наших уже нет в живых и можно рискнуть опубликовать эту книгу. В феврале я начал переговоры о публикации некоторых разделов с одним из редакторов журнала «Лайф». Переговоры еще шли, когда умер Сталин. Я был страшно разочарован, что он не протянул еще немного,— тогда бы он увидел разошедшуюся по всему миру тайную историю своих преступлений и убедился, что все его старания утаить их оказались тщетными.

Смерть Сталина не означала, что я мог больше не опасаться за свою жизнь. Кремль по-прежнему ревниво оберегает свои тайны и сделает все, что в его власти, чтобы разделаться со мной,— хотя бы в назидание тем, кто испытывает соблазн последовать моему примеру.

Александр ОРЛОВ

Нью-Йорк, июнь 1953 г.

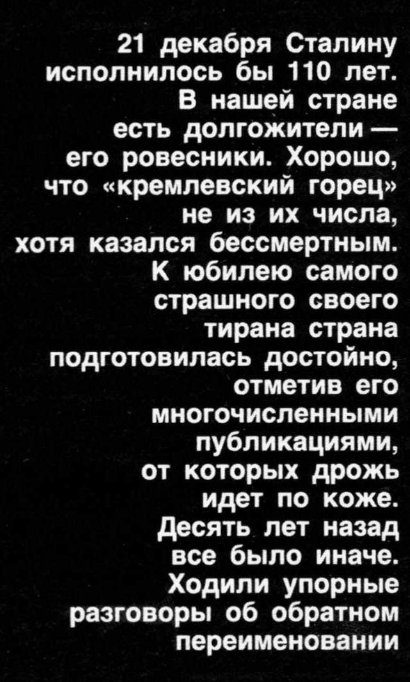




Фото
Юрия
ЛУНЕВА

Волгограда в Сталинград; в «Правде» появилась статья, в которой наряду с «негативными явлениями культа личности» отдавалось должное «заслугам» генералиссимуса. Нам кажется, лучше всего отметить юбилей Сталина, опубликовав эти фотодокументы, свидетельствующие о его делах. Жертвы сталинщины — вот о ком хочется еще раз вспомнить в день рождения палача.



Александр ТКАЧЕНКО

(ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ)

1

Я тоже
один из обломков
империи Сталина,
как это ни прискорбно,
товарищи и господа,
ибо нельзя быть в воде
и выйти из нее сухим...
И нечего себя утешать,
что ты не такой,
ты не оттуда —
не надо было дышать воздухом,
пить газировку на улицах,
слушать речи, даже и презирая их,
ибо зерна, молекулы все равно остаются
отравленными —
такова реальность,
и хоть ты для кого-то и маленький,
для себя ты большой,
а разве этого мало
для совести, отпущенной
всего на одну жизнь?
Даже если ты и остался чист,
то это чистота чистоплюя,
а надо было плевать в рожи
серых пиджаков с невидимыми
золотыми погонами, с прожилками крови
в золотых нитках...

2

Что прорастает из площадей —
крики деревьев, вопли цветов
и между плит любопытство ресниц,
строится город-мемориал.
Комната-лодочка В. Маяковского
прочно вошла в порт нового
корпуса Лубянки...
Вместилище поэта революции
проектировщики эпохи застоя
арестовали как бы по 58-й статье...
Если мы хотим поставить монумент
жертвам, то прежде всего должны
уничтожить ЖЕРТВЕННИКИ,
без этого не будет мемориала,
ведь жизнь проста и чиста,
люди хотят человеческого,
и больше, чем они могут дать сами себе,
им не даст ни государство, ни власть...
Не надо им только мешать,
надо все открыть —
границы, парадные подъезды, распределители,
где исходят слюной чиновники,
и не будет столпотворений
и пробок — все разберет движение,
каждый найдет свое...
И это тоже мемориал.

3

А что есть право выбора?
Стихия может выбрать и ураган,
соблазн может выбрать и грех.
Камни всегда выберут камень.
Раб всегда выберет господина.
И только свободный человек
не будет выбирать никого.
Он прежде всего выберет самого себя.
И только он должен стоять в центре
всех каждодневных проблем...
Москва и Торжок — равновелики.
И пока мы не поймем этого, не получится
у нас мемориала,
а если мы его построим вопреки этому,
то он рухнет —
мертвые, невинные жертвы наши
не простят нам дежурного отношения
к прошлому и будущему,
ибо тот, кто выстоял, был уничтожен,
тот, кто был уничтожен, тот выстоял,
а тот, кто вернулся — он еще не вернулся,
он все еще там
и видит оттуда,
какой мы строим
мемориал...



Константин СЛУЧЕВСКИЙ

1837—1904

Дорогие читатели!

Поэтическая антология «Русская муза XX века» прощается с вами. Я, как ее составитель, выражаю глубокую благодарность и редакции «Огонька», щедро подарившего истории нашей поэзии столько страниц, и вам, которые своими предложениями, критикой, поддержкой так помогли мне в восстановлении общей картины русской поэзии двадцатого века — картины, которая была иногда повреждена, иногда замазана. Безусловно, некоторые из вас будут недовольны, и справедливо, что картина эта получилась далеко не полной. Но это произошло не из-за нежелания составителя, а лишь в связи с ограничивавшим количество имен и стихов журнальным объемом.
Но хочу вам сообщить — в настоящее время я продолжаю работу над этой антологией для издательства «Книга», которое предполагает выпустить ее в трех томах, примерно по 25 печатных листов каждый.
Прошу вас посылать свои предложения, замечания по адресу издательства.

Для завершения антологии я предлагаю стихи замечательного русского поэта К. Случевского. Правда, он сформировался как поэт еще в XIX веке, но возрастом и стихами шагнул в двадцатый. Стихи Случевского занимают такое же особое место в литературе, как и стихи его предшественника П. Вяземского. Оба они были заслонены более блестящими, более громкими именами, а несправедливо. Они ни к кому не примыкали, не возглавляли никаких школ, а таких писателей не любят ни правые, ни левые. Многих литераторов раздражало в Случевском и то, что он был правительственным чиновником, придворным журналистом-бытописателем в свите великого князя Владимира Александровича.
На склоне лет своих ему было иногда затруднительно найти издателей, ибо он не подходил ни под либеральные, ни под охранительные мерки. В одном из своих писем он пытается объяснить, что его стихи «вне всякой партийности: что их задача — облегчить насколько возможно странствования мятущегося духа человека». Перечитывая и Вяземского, и Случевского, я всегда с горечью думаю — каких больших русских поэтов проглядели их современники, и до сих пор недооцениваем мы, потомки. В знак уважения к памяти этого крупнейшего поэта переходного периода России из девятнадцатого века в двадцатый мы делаем подарок читателям антологии, открытой, как помните, Иннокентием Анненским: завершаем ее стихами Константина Случевского.

* * *

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.

* * *

Я видел свое погребенье.
Высокие свечи горели,
Кадил непроспавшийся дьякон,
И хриплые певчие пели.

В гробу на атласной подушке
Лежал я, и гости съезжались,
Отходную кончил священник,
Со мною родные прощались.

Жена в интересном безумьи
Мой сморщенный лоб целовала
И, крепом красиво прикрывшись,
Кузену о чем-то шептала.

Печальные сестры и братья
(Как в нас непонятна природа!)
Рыдали при радостной встрече
С четвертою частью дохода.

В раздумьи, насупивши брови,
Стояли мои кредиторы,
И были и мутны и страшны
Их дико блуждавшие взоры.

За дверью молились лакеи,
Прощаясь с потерянным местом,
А в кухне объевшийся повар
Возился с поднявшимся тестом.

Пирог был удачен. Зарывши
Мои безответные кости,
Объелись на сытных поминках
Родные, лакеи и гости.

* * *

Когда бы как-нибудь для нас возможным стало
Вдруг сблизить то, что в жизни возникало
На расстояньях многих-многих лет,—
При дикой красоте негаданных сближений
Для многих чувств хотелось бы прощений...
Прощенья нет, но и забвенья нет.

Вот отчего всегда, везде необходимо
Прощать других... Для них проходит мимо
То, что для нас давным-давно прошло,
Что было куплено большим, большим страданьем,
Что стало ложью, бывши упованьем,
Явилось светлым, темным отошло...

* * *

За то, что вы всегда от колыбели лгали,
А может быть, и не могли не лгать;
За то, что, торопясь, от бедной жизни брали
Скорей и более, чем жизнь могла вам дать;

За то, что с детских лет в вас жажда идеала
Не в меру чувственной и грубою была,
За то, что вас печаль порой не освежала,
Путем раздумия и часу не вела;

Что вы не плакали, что вы не сомневались,
Что святостью труда и бодростью его
На новые труды идти не подвизались,—
Обманутая жизнь — не даст вам ничего!

* * *

В костюме светлом Коломбины
Лежала мертвая она,
Прикрыта вскользь, до половины,
Тяжелой завесью окна.
И маска на сторону сбилась,
Полуоткрыт поблекший рот...
Чего тем ртом не говорилось?
Теперь он в первый раз не лжет!

* * *

В час смерти я имел немало превращений...
В последних проблесках горевшего ума
Скользило множество таинственных видений
Без связи между них... Как некая тесьма,
Одни вослед другим, являлись дни былые,
И нагнетали ум мои деянья злые;
Раскаивался я и в том, и в этом дне!
Как бы чистилище работало во мне!
С невыразимою словами быстротою
Я исповедовал себя перед собою,
Ловил, подыскивал хоть искорки добра,
Но все не умирал! Я слышал: «Не пора!»

* * *

Да, трудно избежать для множества людей
Влиянья творчеством отмеченных идей,
Влиянья Рудиных, Раскольниковых, Чацких,
Обломовых! Гнетут!.. Не тот же ль гнет цепей.
Не только умственных, совсем не тяжких,
братских...
Художник выкроил из жизни силуэт;
Он, собственно, ничто, его в природе нет!
Но слабый человек, без долгих размышлений,
Берет готовыми итоги чуждых мнений,
А мнениям своим нет места прорасти,—
Как паутиною все затканы пути
Простых, не ломаных, здоровых заключений,
И над умом его — что день, то гуще тьма
Созданий мощного, не своего ума...

* * *

Не стонет справа от меня больной,
Хозяйка слева спорить перестала,
И дети улеглись в квартире надо мной.
И вот, кругом меня так тихо, тихо стало!
Газета дня передо мной раскрыта...
Она мне не нужна, я всю ее прочел:
По-прежнему в ходу ослиные копыта
И за клочок сенца идет на пытку вол!
И так я утомлен отсутствием свободы,
Так отупел от доблестей людей,
Что крики кошек и возню мышей
Готов приветствовать, как голоса природы.

РЕЦЕПТ МЕФИСТОФЕЛЯ

Я яд дурмана напущу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!

Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!

У передо́хнувших химер
Займу образчики творенья,
Каких-то новых, диких вер
Непочатого откровенья!

Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключенье до начала!

Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею,
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минею.

БУДУЩИМ МОГИКАНАМ

Да, мы, смирясь, молчим... в конце концов —
бесспорно!..
Юродствующий век проходит над землей,
Он развивает ум старательно, упорно
И надсмехается над чувством и душой.

Ну, что ж? Положим так, что вовсе не позорно
Молчать сознательно, но заодно с толпой;
В веселье чувственности сытой и шальной
Засмеивать печаль и шествовать покорно!

Толпа всегда толпа! В толпе себя не видно;
В могилу заодно сойти с ней не обидно;
Но каково-то тем, кому судьба — стареть

И ждать, как подрастут иные поколенья
И окружат собой их, ждущих отпущенья,
Последних могикан, забывших умереть!



ФОТОВЕРНИСАЖ

Юрия
КАВЕРА

Зима— и все опять впервые...



Излишне говорить о красоте зимнего пейзажа. У него свое, «холодное» обаяние морозных снегов. Есть оно и в работах Юрия Кавера. Его пейзажи наполнены особенным теплом. Будь то искрящиеся зимние праздники, северные просторы, звенящая тишина заснеженного леса. В каждой фотографии Юрия Кавера живет лишь ему присущее сочетание красок: от почти ахроматических до взрывных и резких. И, может быть,



Борис ПАСТЕРНАК

ИНЕЙ

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.

Всё обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

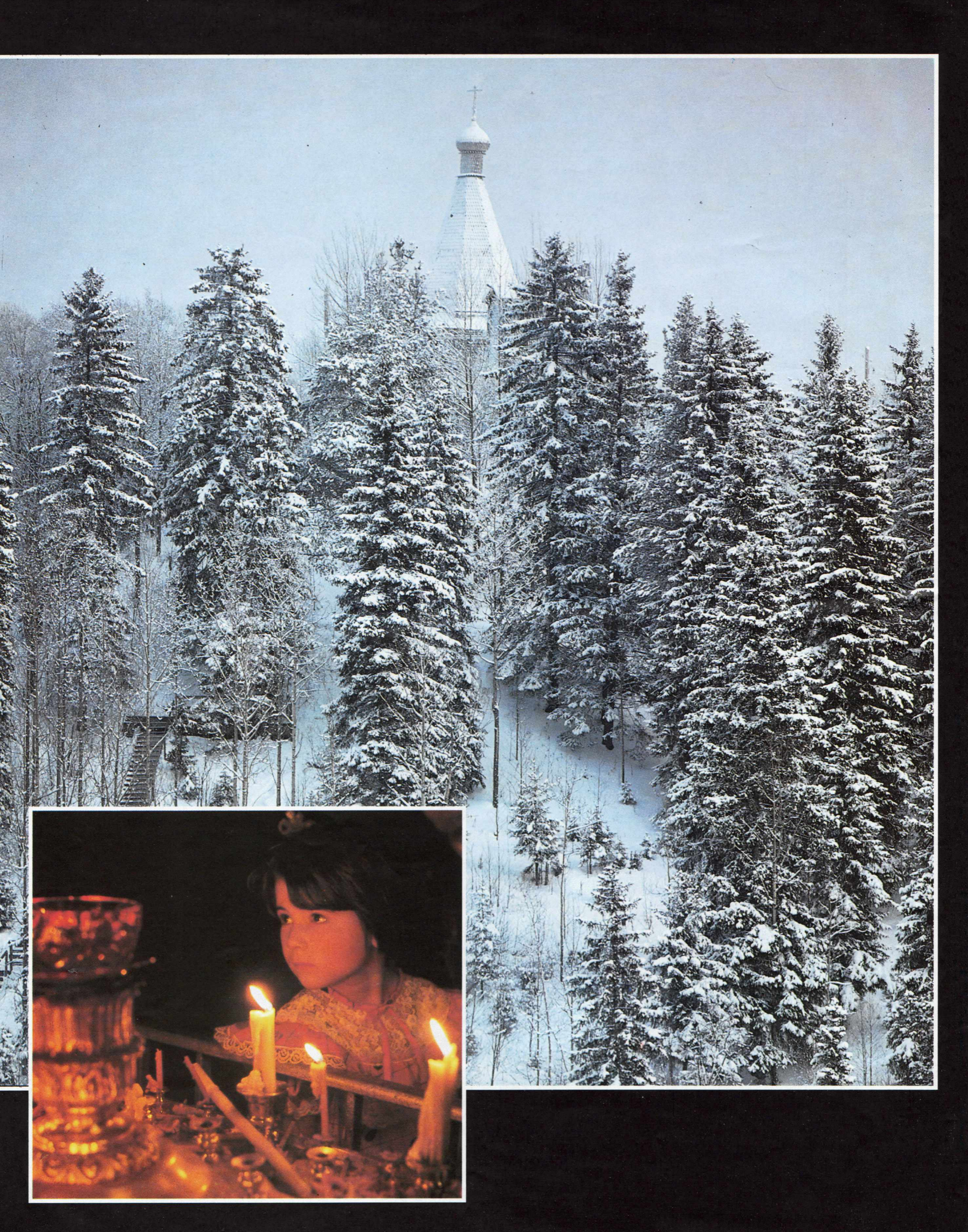
Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

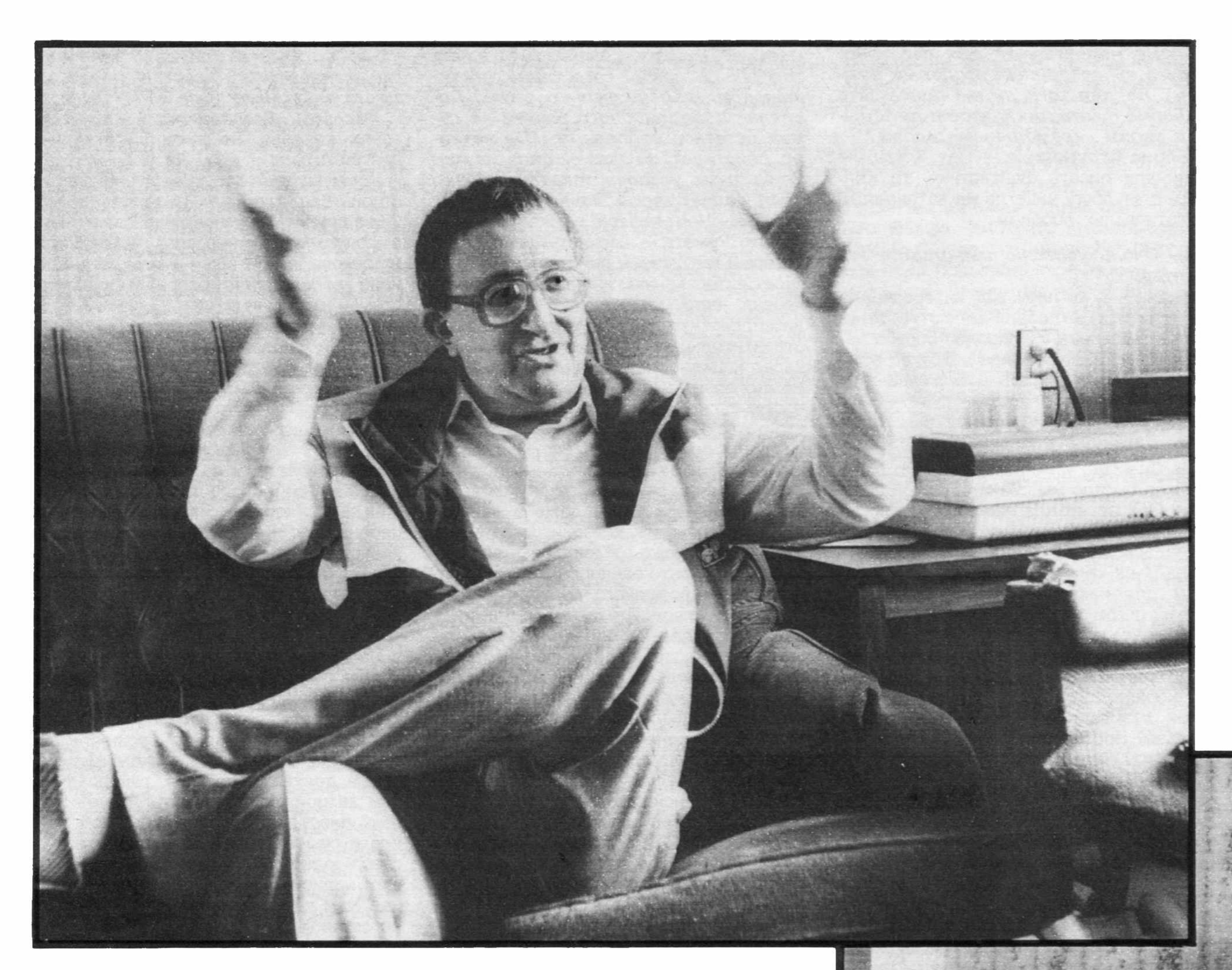
За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

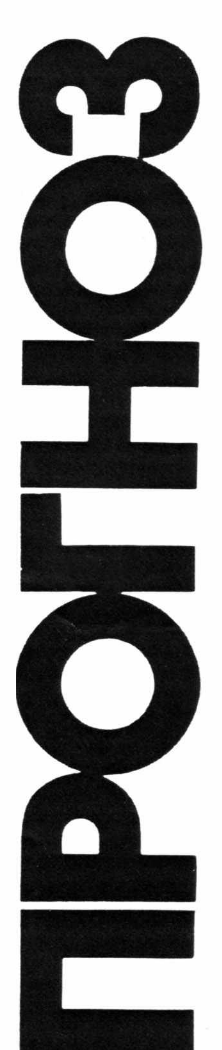
Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

симпатия к этим произведениям в том, что в каждом живет человек, и мир, им обозреваемый, есть объект для философских и поэтических раздумий. Обращаясь к нему, фотохудожник видит две стихии: людскую и природную, и, заключая их в союз, Юрий Кавер заставляет светиться новым светом привычные нам всем и дорогие картины природы.







Алла БОССАРТ

«Один ленинградский кинодеятель времен застоя дал такую блистательную формулировку: фантастика — это либо дерьмо, либо антисоветчина»,— сказал мне Борис Натанович Стругацкий. Я с этим согласилась. Сейчас критики дружно пишут, например, что «Улитка на склоне» — лучшее произведение писателей. А в «те годы» лучшие произведения Стругацких были признаны именно «антисоветчиной». Лучшие были, как правило, антиутопиями. Антиутопия же, как известно,— это такое описание будущего, где в гротескной форме изображены пороки настоящего, логически доведенные до пугающего абсурда. Наша знаменитая «антисоветчина» всегда была именно антиутопией. Ибо отрицала не Советскую власть, как принято считать, а тот способ жизни, тот строй, который Советскую власть нам заменил. Фантасты Стругацкие, как и все авторы антиутопий, писали и пишут, конечно, о настоящем. Но, не соглашаясь со своей принадлежностью к футурологам, все-таки они фантасты. И привыкли, как говорят сами, думать о будущем. По словам Бориса Стругацкого: «Для меня это — модус вивенди, образ жизни, образ действий, привычная обязанность. Каждое событие, происходящее на моих глазах, я рассматриваю с точки зрения: во что это выльется? Если человек тридцать лет размышляет о будущем, он становится в этом смысле немного перекошенным...»

Фото Бориса КОПИРОВСКОГО

— Вы рисуете такие страшные картины мира, как в «Граде обреченном», например. А ведь некогда изображали «светлое коммунистическое» будущее?..

Аркадий Стругацкий: — Раньше мы описывали общество, в котором нам хотелось бы жить. А сейчас — общество, которого мы боимся.

— Которого боитесь или которое провидите?

А. С.— Ничего провидеть нельзя.

— Ну, просчитываете.

А. С.— И тем более не просчитываем. Попробую объяснить. В застойное время на сознание, на воображение действовали мириады мелких информационных факторов: микрослучаев, анекдотов, слухов... Большая часть копилась в подсознании, и вдруг, словно масса их достигла критической, разом, взрывом это всплывало в активную память уже законченной и довольно жутковатой картиной. И вот она уж поддавалась социологическому анализу как утрированная модель реального социума. И давала возможность наметить приоритеты в выборе выхода из дрянной ситуации. Мне, например, представляется, что в основе этой ситуации лежит невероятно низкий уровень культуры общества, упавший едва ли не до уровня массового озверения. Вопрос окультуривания — первейший. Даже не экономики. Вопреки известным утверждениям диалектического материализма о том, что первично и что вторично,— в нашей «отдельно взятой стране» наметилась прямая зависимость процветания от культурного уровня.

— Значит, вы связываете, например, проблемы падения культуры и падения деревни?

А. С.— Несомненно. Впрочем, всеобщего падения культуры у нас все-таки нет. Та русская культура, которая расцвела в прошлом веке, имеет прочную связь с нынешней. Увы, тончайший слой интеллигенции — еще не нация. И надо сказать, этому звездному слою всегда доставалось, процветал он или впадал в ничтожество. Конечно, керосиновые факелы не бросали в Ясную Поляну. Но сколько, к примеру, библиотек сгорело во время крестьянских бунтов! Герцен предупреждал дворянство: лучше сами отдайте, поделите власть и добро с бедными. Но я думаю, это глас вопиющего в пустыне. Дележка не остановила бы крестьян. А с другой стороны, наша замечательная Екатерина, подруга Вольтера, задержала свободно изливаемую культурную мысль России лет на 15—20. Никакая Европа не помешала ей сослать Радищева, расправиться с Новиковым... Потоптались на русской культуре основательно. Не нужно идеализировать ее развитие в прошлых веках...

Борис Стругацкий: — Наверное, выскажу мысль еретическую. Но я совсем не уверен, что культура преобразует общество. Общество преобразуют производительные силы. Здесь я выступаю как самый заскорузлый марксист. Дру-

гой движущей силы я в обществе не вижу. Культура — ну что ж... Это один из элементов общественной жизни. Важный элемент. Может быть, самый ценный. Но не преобразующий, а, скорее, преобразующийся вместе с обществом. «Здравый смысл» достижим и без культуры. Можно накормить народ, одеть народ, образовать народ, все это уже осуществлено во многих странах.

— Сытое общество не есть цивилизованное общество...

Б. С.— Нет, оно цивилизованное, но не обязательно культурное. Цивилизация и культура — это разные вещи. Никакая культура в условиях дефицита не способна изменить расстановку социальных ценностей. Потому что, живя в этих условиях, мы обязательно будем ставить на первое место материальные ценности. Ведь какая у нас социальная программа? В первую очередь обеспечение инвалидов, больных, бедных, стариков. Проблема, которая в цивилизованном мире давно решена. На «второе» — обеспечение жильем. Да разве это проблема для цивилизованного общества!

— Рабочие вопросы...

Б. С.— Ну да. Если провести аналогию с частной жизнью человека... Мне ближе — писателя: это если бы писатель считал первоочередным купить хорошую пишущую машинку; второе по важности — раздобыть бумагу; и только на третьем месте — вопрос, как построить сюжет. Вот в таком положении находимся сейчас мы в силу неестественного состояния экономики и политики в стране. На протяжении многих десятилетий мы представляем собой гигантскую аномалию. Все человеческие цели и ценности перевернуты у нас с ног на голову.

— Но вы сами описали общество, в котором все сыты, производительные силы в полном порядке, а культура все равно не развивается. Интеллигентов ненавидят. И ваш «Град» — он все-таки «обреченный». Не потому ли, что все силы брошены на «продовольствие»?

Б. С.— Надо говорить не «обречённый», а «обречЕнный». «Град обреченный». Знаете, откуда это название?

— У Рериха, кажется...

Б. С.— Да, у Рериха есть картина. Огромный холм, на холме стоит мертвый город — белые стены, крепостные башни... А вокруг холма и вокруг города обвился гигантский спящий змей. Град обреченный... Так вот, культура не развивается в этом городе, потому что сам город является неестественным.

— Только поэтому? Только потому, что сам Град — искусственное порождение «Эксперимента»?

Б. С.— Конечно. Герои не понимают, что происходит. Фюрер Гейгер думает, что если собрался миллион народу, то можно жить по тем же законам, по которым живет Земля. Неверно. Они как были в состоянии экспериментальных существ, так и остались.

...Я исхожу из того, что большинство произведений Стругацких известны читателям, хотя сами авторы не советовали мне исходить из такой презумпции. В случае с «Градом» они, вероятно, правы. Публикация этой повести закончена только в этом году («Нева» №№ 9—10, 1988, №№ 2—3, 1989), хотя написана она десять лет назад. Действие происходит в лабораторном городе под искусственным солнцем, в условной вселенной без видимых границ, куда для некоего Эксперимента неких Наставников собраны добровольцы с Земли, выхваченные из разных периодов новейшей истории. В результате фашистского «Поворота», организованного солдатом рейха Фридрихом Гейгером, Эксперимент выходит из-под контроля Наставников. Стругацкие рисуют три пути, три модели такого «бесконтрольного» развития: фашистская диктатура, фермерская автономия и, наконец, мучительный личный поиск, прозрение духа.

— Не является ли для вас творчество вынужденным эзоповым языком? Не для того ли вы прибегаете к форме фантастики, чтобы дать выход своим «крамольным» идеям?

Борис Стругацкий: — Нет. Когда мы начинали писать фантастику, то клялись друг другу никогда не затрагивать политических проблем.

— Очень успешно выполнили эту клятву...

Б. С. — В ту пору нас интересовала не политика, а глобальный мотив: отношения человека и природы, борьба человека за место в мире... Вот об этом мы собирались писать всю жизнь.

— «Страна багровых туч» — это 55-й? Вам двадцать два года, Аркадию Натановичу тридцать...

Б. С. — Да, и постепенно... даже довольно быстро мы съехали с этой позиции. Она перестала нам казаться интересной — это во-первых. А во-вторых — началась первая оттепель. 56-й год, XX съезд, венгерские события... Переломом для нас стала повесть «Трудно быть богом». Она задумана давно, в спокойные для нас времена, как повесть о том, как высокоразвитое общество пытается вмешаться в историю низкоразвитого. Мы хотели решить для себя этический вопрос: можно это, нельзя? Вредно или полезно для изменяемого общества и так далее. Но в 1963 году, как вы помните, произошла историческая встреча Никиты Сергеевича с художниками в Манеже. И это событие потрясло нас. Шок. Достаточно было прочитать газеты, чтобы понять — а мы были лояльными ребятами,— что во главе нашего государства стоят люди, называющие себя коммунистами, и на виду у всего мира топчут искусство, культуру, интеллигенцию и лгут беззастенчивым образом. Этот шок перевернул наши представления о коммунизме, как к нему идти и почему он так далек. Мы не там искали врагов! Начиная с «Трудно быть богом» мы всеми силами, где только можем, боремся против лжи пропаганды. И защищаем интеллигенцию. Мы объявили ее для себя привилегированным классом, единственным спасителем нации, единственным гарантом будущего — идеализировали, конечно. И «Трудно быть богом» возникла как повесть, воспевающая интеллигенцию.

— Критик Ирина Васюченко высказалась в «Знамени»: «А неподражаемый Румата? Фанфарон, вечно переоценивающий свои силы, ставящий под удар не только себя... Посланец победоносного разума не сумел остаться человеком... Он активно действует, за ним — сила, а мир Стругацких устроен так, что только сила делает героя значительным».

Б. С. — Черт побери, неужели не видно, что Румата — несчастный человек, который всю жизнь действовал против своих естественных желаний! Это была первая, если можно так выразиться, диссидентская наша повесть. Наиболее отвратительным в мире, открывшемся перед нашими глазами, была ложь. Все можно понять: перегибы, несправедливости, даже казни; то, что у власти стоят люди недостойные и ведут они нас черт знает куда,— все можно понять и исправить можно, но при одном условии: скажите людям правду, хватит врать. В США, даже в наихудшие моменты их истории, газеты не стеснялись писать: «Гангстеры, подкупленные таким-то банкиром, поймали такого-то профсоюзного деятеля и сожгли его заживо». А у нас сжигали цвет нации под песню «живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!». Специфика советской истории в том и заключается, что возникла ситуация, когда а) при ликвидации свободы печати б) была создана мощная, разветвленная тайная полиция. Этих двух условий достаточно, чтобы можно было делать с любой страной все, что угодно. Поэтому судьба нашей страны оказалась такой ужасной. В 63-м году мы начали это понимать, а в 68-м году, после Чехословакии, уже все было ясно: есть определенные силы, силы, а не люди, и эти силы двигают страну в каком-то страшном направлении. Это было крайне болезненное прозрение. Многие из наших друзей пришли в партию с абсолютно чистыми душами, в конце 50-х, на волне антисталинской кампании — в партию, в партию...

— А вы?

Б. С. — Когда я был наивным, «верующим», я считал, что в партию мне вступать просто не пристало. Кто я такой? Сопляк. Когда же я стал разбираться в ситуации, то понял, что для партии не гожусь. Не умею выполнять приказы.

— Это принцип?

Б. С. — Да, это принцип.

— Как вы сейчас, с вершины возраста, опыта и полусотни книг, написанных о разных модификациях коммунистического общества, представляете себе коммунизм?

Аркадий Стругацкий: — Прежде всего, конечно, не в одной отдельно взятой стране.

Коммунизм — это объединение всех стран, без границ и различия наций. Объединение на основе равного и очень высокого экономического потенциала; на основе высочайшей культуры; на основе великолепно разработанной системы воспитания.

— А культурные различия, разница в нравственных представлениях — как при этом возможно слияние, которое вы прогнозируете?

А. С. — Оно не только возможно, но и происходит уже сейчас. Европейская культура оказалась столь мощной, что воздействовала и на Китай, и на Японию... А доброкачественные воспитательные традиции Японии кое в чем перенимают Европа и Америка. Идет постоянное взаимопроникновение.

— А наша многострадальная страна? Она сможет влиться в этот мировой коммунизм?

А. С. — До сих пор ни одна страна в изоляции не выживала. Хотя нынче мы от коммунизма дальше, чем кто-либо. Потому что коммунизм — это квинтэссенция **нормального** бытия. Проповедь национальной розни, которую ведут сейчас, к ужасу моему, некоторые деятели культуры, тем опаснее, чем авторитетнее, масштабнее фигуры этих писателей, художников; чем ценнее и существеннее их вклад в искусство и культуру. Реакционные идеи лучших национальных художников страшнее, чем давление власти. Власть можно сменить.

— Романова на Соловьева? Не будет же во главе, скажем, Ленинграда стоять, скажем, Дмитрий Лихачев.

А. С. — А может, будет. Тенденция такова, что к власти приходит интеллигенция.

— Тенденции нет, есть попытки, которые подавляются. В частности, и на Съезде народных депутатов.

А. С. — Я говорю о тенденции, а не о фактах. Если нет такой уверенности, то и говорить не о чем. Должна быть уверенность, что тенденция разовьется в систему фактов.

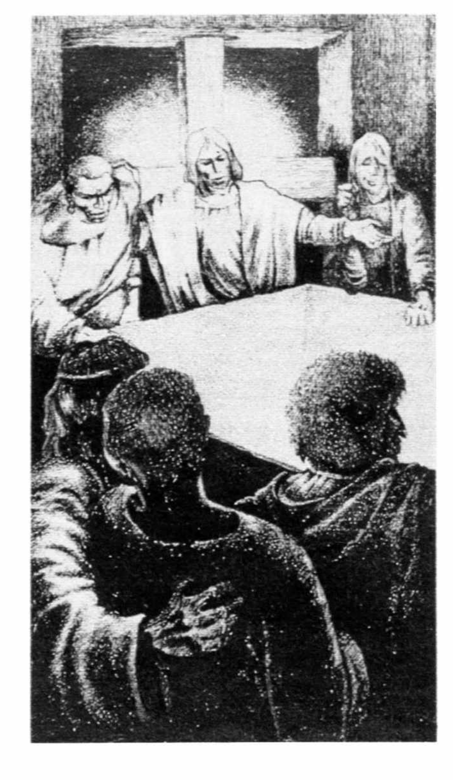
— Чем питается ваш оптимизм?

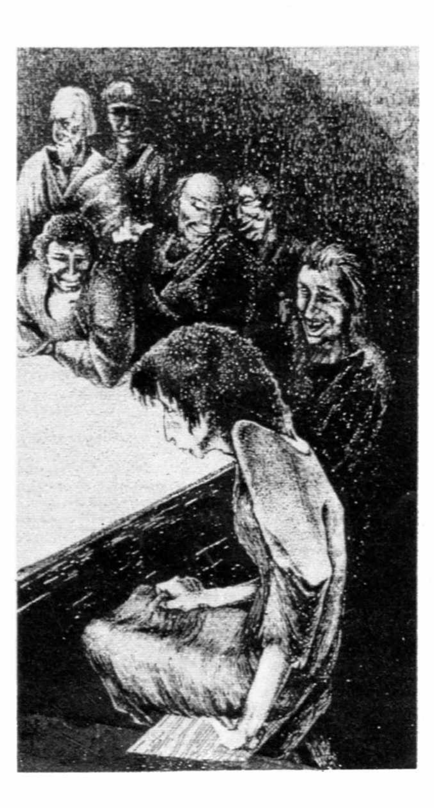
Борис Стругацкий: — Тем, что если человечество обнаруживает угрозу, оно, как правило, с ней справляется. Человечество справилось даже с голодом в Индии, где, по подсчетам, должны были умереть десятки миллионов. Но произошла «зеленая революция», вывели новые сорта злаков — и выжили.

— Почему ж Россия никак не может справиться?

Б. С. — Как не может? Мы же и об этом писали в «Трудно быть богом»: жизнь коротка, а история движется так медленно! Так хочется скорее изменить положение вещей на отрезке своей жизни! Но на протяжении человеческой жизни мало что меняется. В этом трагедия нашего Руматы — именно в этом. Человек понимает, что ему отпущено 70—80 лет. И эти восемьдесят лет он будет трудиться, мучиться, страдать, кровь проливать чужую и собственную, совесть свою будет топтать ногами — и умрет, так и не увидев плодов своей работы. И ваш вопрос тоже трагичен: почему же Россия... Да все меняется, только очень медленно! Мы не успеваем на отрезке своей жизни увидеть существенные изменения. Хотя вот лишь десяток лет назад мы не позволяли себе говорить, правда, позволяли уже думать. А ведь тридцать—сорок лет назад и думать было нельзя! Времена глухого рабства — и тоже казалось, что навсегда. Единственный исторический закон, который действует,— это закон о непрерывном развитии производительных сил. Согласно этому закону, развитие непрерывно. Не было случая, чтобы движение в области производительных сил шло назад — оно всегда идет вперед.

Иллюстрация Яны Ашмариной к роману «Отягощенные злом».





— Да, но мы-то ставим на пути этого прогресса искусственные преграды. Никто не ставит, а мы-то почему ставим, да еще так изобретательно? Может быть, так трагична судьба культуры и вообще прогресса в нашем государстве, что оно тоже — искусственное порождение?

Б. С. — Наше государство — не искусственное порождение. Это общество, находящееся в аномальном состоянии. Вот мое мнение: Россия, или, вернее, СССР, как правильнее говорить, свернула с торной дороги цивилизации...

— ...И пошла своим путем.

Б. С. — Да, поперли буераками... Но я вас уверяю, что мы непременно опять выйдем на ту самую торную дорогу — потому что она ОДНА. Это единственная дорога. Это дорога, на которой осуществляется принцип: человек, который работает на общество хорошо, получает от этого общества большой кусок. Человек, который работает на общество плохо,— не получает от общества ничего. Этот основополагающий принцип был нарушен в конце двадцатых годов. И производительные силы сразу тормознули. Сейчас мы вроде со скрипом выходим на эту дорогу. И выйдем, никуда не денемся. При этом может произойти что угодно. Военный переворот — «импичмент по-советски». Или нам объявят, что во всем виноваты кооператоры — разрушили экономику. А идеологию разрушил журнал «Огонек». И мы скушаем. Снять десяток редакторов, закрыть кооперативы, объявить, что перестройка закончена,— и привет, мы отброшены на десятилетия назад. На несколько лет наступит привычный покой...

— Но ведь тогда не на несколько лет он наступит, а уже на века!

Б. С. — Нет! Одно-два поколения, лет сорок, не больше. Вся прелесть перестройки заключается в том, что альтернативы нет! Другого пути, чем тот, через который прошли десятки стран мира, нет. Начнутся бунты, восстания, забастовки. Исчезнут уже не мыло и соль. Исчезнет хлеб. Административно-командная система не может этого не понимать. У нее в запасе, правда, есть один козырь: широкая продажа спиртных напитков. Хороший козырь...

— ...Но надежней армия, которая теперь повсюду.

Б. С. — Армия? А вы знаете, что в Ленинграде милиция уже отказалась подавлять стихийные выступления? Митинги-то уже сами милиционеры устраивают. Транспарант вывесили: «Не хотим быть бульдозерами исполкома!» В Новочеркасске когда-то раздавили восстание в два дня. А сколько уже длятся события в Фергане? У Ключевского замечательно сказано: обычный прием плохих правительств — пресекая следствие зла, отягощать причину его. И для нас это всегда было нормой: не разбираясь в причинах народного гнева, давить танками последствия. Причем смотрите: как только кровь прольется — власти сразу оказываются способны принять решения — как бы их назвать? Европейские, что ли? В смысле не феодальные, антифеодальные. Похоже, что тбилисская трагедия многому научила. В этом смысле трагедия может быть оптимистической. Оптимизм — это когда старое отмирает. Очень болезненный процесс, что бы ни отмирало. Кровь, грязь, мерзость, бесчестие... Страшные события, трагические. Но они несут в себе зерно оптимизма: все это — признаки изменения общества.

Аркадий Стругацкий: — Природа моего оптимизма в том, что жить с мыслями о ядерной войне нельзя. Тот, кто исключает в своих жизненных намерениях возможность гибели,— оптимист.

— Это уже оптимизм?!

А. С. — Не уже, а именно это и есть оптимизм.

— Человек, который не боится заразиться СПИДом,— оптимист?

А. С. — СПИД, конечно, большая неприятность...

— Неприятность, вполне, по-моему, соизмеримая с ядерной войной.

А. С. — Если говорить о соизмеримости, то для меня сравнимая опасность и в том, что перестройка «накроется».

— Это опасность для нашей страны. А СПИД — для человечества.

А. С. — В 1914 году такой опасностью был грипп. Выкосил в Европе двадцать миллионов.

— Вы уповаете на вакцину?

А. С. — То есть что значит уповаю? А на кой черт еще нужна медицина и вообще наука? Не Бог же наслал на нас СПИД. Сами воспитали его в своей среде. А раз не Бог, значит, в наших силах. Вот в чем оптимизм.

— А точно не Бог? Вот в ваших произведениях действуют всякие Наставники, Странники, Демиург... Значит, у вас есть все-таки некие представления о высших силах?

А. С. — Это не у нас. Это у вас.

— Почему вы обратились к образу Христа? И вообще столь неожиданные библейские реминисценции в «Отягощенных злом», или «ОЗ», последней вашей повести, что вызвала такую ярость критики,— откуда этот новый интерес?

Борис Стругацкий: — Это не новый интерес. Нас вот обвиняют в пропаганде культа силы или, как вариант, культа разума, в якобы преимуществах хомо сапиенс перед всем остальным мирозданием. Я, к сожалению, не знаю латыни — вот как сказать «человек совестливый»? Мы прежде всего на стороне человека совестливого. В этом смысле Христос для меня — трогательнейшая историческая фигура. Искупивший своей жизнью грехи человечества — такая фигура поражает воображение. Кстати, мало кто понял, что «ОЗ» — это история о трех Христах.

— Равви, лицейский наставник Г. А. Носов, а третий?

Б. С. — Демиург! Творец материи, отягощенной злом. Демиург — это Христос через две тысячи лет. Второе пришествие. Он вернулся на нашу Землю, изуродованный, страшный, постаревший, растерявший милосердие свое, потому что за эти двадцать веков побывал на десятках миров, где пытался уничтожить зло. Вот его трагедия: что Бог ни делает, как ни выкамаривает — все, что он творит, отягощено злом. Две тысячи лет назад, Иисусом Христом,— он хотел помочь людям проповедями о милосердии. Кончилось все это печально. И вот он снова ищет путь исправить содеянное. Он ищет людей, которые бы помогли ему в этом, а к нему идут все какие-то ублюдки с предложениями Страшного Суда, национально-патриотической революции, око за око... И он смотрит на них с тоской и говорит: это все хирурги, а нужен терапевт...

— И в ваших представлениях действительно присутствует идея такого Демиурга? Вы не придумали его специально для книги?

Б. С. — Не знаю, правда ли, что когда Лапласа спросил Наполеон, где же в его модели Вселенной Бог,— ученый якобы ответил: в этой гипотезе я не испытывал потребности. Вот и я не испытываю потребности в этой гипотезе. Я буду готов признать его существование только тогда, когда не найду других способов объяснить некую совокупность идей и явлений. Логика владеет мной.

— Поэтому вы и создали новые апокрифы, переписав кульминационные эпизоды Евангелия?

Б. С. — Вы знаете, лет двадцать назад я с огромным интересом читал Новый завет и, сравнивая Евангелия, обнаруживал интереснейшие вещи. Ведь не так уж много эпизодов, которые повторяют и Лука, и Матфей, и Иоанн, и Марк. А вот фрагмент с отрубленным ухом раба первосвященника при аресте Христа есть во всех четырех Евангелиях. Чем же он так замечателен, этот эпизод, что все четыре евангелиста его отметили? Это очень загадочно и интересно. К «Отягощенным злом» мы взяли эпиграфом строчку из Евангелия от Иоанна: «Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх». В повести она играет роль важную, эта строчка. Дело в том, что среди многих идей и тем «ОЗ» есть такая, выраженная в анекдоте о Сталине. Вождь смотрит «Незабываемый 1919-й» — апологетический фильм, где всячески прославляется он сам и принижается Ленин. И вот Сталин все мрачнеет, мрачнеет и, досмотрев до конца, встает и произносит с нажимом: «Нэ так всо это было, совсэм нэ так». Так вот, эта идея — «не так все это было, совсем не так» — применительно к истории вообще,— чрезвычайно увлекает нас и очень активно нами используется. Мы переписываем историю, чтобы взорвать привычные стереотипы, вывернуть их наизнанку и заставить задуматься над происходящим... Один критик из молодогвардейской когорты не понял этого (или не захотел понять) и в «Литературке» обвинил нас в невежестве: мы-де не знаем Евангелия, ведь ухо у нас отрубают не рабу Малху, а апостолу Иоанну... Не заметив эпиграфа, который мы специально поставили, чтобы не было сомнений на тот счет, что мы ничего не путаем и источники знаем. Но чудится нам, что «не так все это было»...

— Эпизод с Иудой меня вообще поразил, потому что я нашла в нем подтверждение тем педагогическим идеям, с которыми ношусь давно: о том, что высокий Учитель, настоящий мудрец, делает всегда так, что ученик прав. Вину берет на себя. Он сам создает ситуацию, от которой ученик уйти не может.

Б. С. — Это мысль тоже стоящая. Но у нас проще: Иуда, вообще говоря, выдумка. Не было никакого Иуды. Не было предательства. Все было горше и трагичней. Нам нравится гипотеза, что Христос сам руководит логикой событий. Ему нужно пробиться со своей истиной к народу. Его не слушали, не до него было. Единственная трибуна, с которой он надеялся говорить со всеми, был крест. И он посылает Иуду... Но и как вы — тоже трактовать можно и даже интересно.

Я решусь совсем немного развить свою трактовку.

Иуда нарисован несчастным, слабоумным изгоем, «дрисливым гусенком», прыщавым, вечно голодным гнуснецом, битым и гонимым с раннего детства. «Равви», Учитель, был первым, кто заговорил с ним ласково, хотя скудный мозг отрока Иуды не улавливал смысла слов Равви. Прочие ученики, а числом их было, как мы помним, двенадцать, травили, и били младшего, и глумились над ним по-прежнему. Но Учитель был неизменно ласков, он был защита, и любовь подростка Иуды, все его существо были отданы Равви без остатка. И однажды Учитель призвал Иуду и велел пойти и сделать нечто. Учитель сказал, что ему дадут денег, а он за это приведет стражников. Слабоумный Иуда много раз повторил урок и запомнил. И Учитель похвалил его. А когда Иуда привел стражников — Равви поцеловал верного ученика своего, слабоумного Иуду.

Христос положился на самого ничтожного из учеников. На самого ничтожного и потому самого благодарного. Только такой мог выполнить такую волю Учителя.

Причиной многих бед было и будет аутсайдерство.

Причиной худших бед была, есть и будет система аутсайдерства, разработанная во всяком тоталитарном государстве. «Дедовщина» в армии — лишь частный аспект «дедовщины» в стране, «дедовщины», основанной на моральности силы.

Такова трагедия «флоры». Зеленый плевок общества, дети-«отказчики» в буквальном смысле уходят в природу: иные ценности, иные наслаждения, иная цивилизация. Настала эпоха, когда, по прогнозу моих собеседников, завершилась перестройка (два поколения, «сорок лет спустя»), настало благоденствие. Каким же предлагают нам человека эпохи благоденствия? Что делает общество с новой цивилизацией аутсайдеров? Общество, вооруженное своей правотой, моралью своей силы, идет на «флору» крестовым походом. Значит, что же? Никакая экономика, никакие производительные силы не изменят природы человека, его неистребимой ксенофобии, и вражда к чуждому, вражда к иному будет вечным проклятием тяготеть над нами даже тогда, когда исчезнут границы и потекут молочные реки? Неужто вовеки веков предстоит нам бояться и истреблять ЖУКА в МУРАВЕЙНИКЕ?

Борис Стругацкий: — Распространено мнение, что все неприятности, которые мы имеем,— это следствие того, что мы недостаточно хороши. Когда мы все будем нравственными и наше общество построим разумно, нравственно, справедливо, то все будет хорошо. Увы! До тех пор, пока некоторые вещи не выкорчеваны с корнем... Как бы ни было замечательно устроено общество, какие бы прекрасные и воспитанные люди его ни населяли, если в этом обществе возникает тайная полиция — не избежать смерти ни в чем не повинных людей.

— Но тайная полиция будет существовать до тех пор, пока в обществе будут тайны...

Б. С. — Вы правы! И поэтому тайная полиция будет существовать всегда. Я не могу представить себе общество без тайн. Но сама мысль о том, что можно построить такое общество, когда от всего нашего мрачного бытия останется только тайная полиция,— эта мысль оптимистична.

— Но ведь эта «малость» привела в вашем романе «Жук в муравейнике» к тому, что уничтожен зачаток иной природы. Новой жизни, которая могла дать иное направление цивилизации.

Б. С. — У вас получается, что если Сикорский застрелил вестника иной цивилизации,— это трагедия. А если бы просто человека?

— Так это еще дурнее!

Б. С. — Почему же вы делаете акцент на могучем потенциале нашего обреченного персонажа, а не собственно на смерти человека? Вы ведете себя прямо как генерал-полковник Родионов. Слышали его выступление? Вместо того чтобы сказать: я военный человек, я получил приказ, и я его выполнил, и очень сожалею о том, что произошла такая беда...— вместо этого он начал с того, что в Тбилиси разгорелся антисоветский политический шабаш. И из этого как бы следует: тот факт, что людей убивали, оправдан. Шабаш — значит, нужно давить. Если гуляние — вот тогда нехорошо. И во всем эта замечательная логика: кричат на трибуне «Долой КПСС» — стрелять с-сукиного сына; а кричат «Да здравствует озеленение!» — не стрелять. И в голову ведь не приходит, что стрелять нельзя вообще!

— И вы все равно настаиваете на оптимизме? Несчастный Румата, который ничего не смог в этой жизни сделать, покинул поприще; и тайная полиция при коммунизме; и тянутся перед людьми «глухие окольные тропы», так с тех пор и тянутся, потому что не могут люди преодолеть ни себя, ни обстоятельств, а прозревшие погибают... И — никакой перспективы? И это оптимизм?

Б. С.— Оптимист не тот, кто считает, что завтра будет лучше, чем сегодня. В «Улитке на склоне» есть одна идея, которая для нас очень дорога. До того мы много писали о будущем. Пытались изобразить будущее страшное, в котором жить невозможно, от которого мы бежали; и будущее желанное, светлое,

«коммунистическое», в котором нам хотелось бы жить. И вот только в 65-м году нам пришла в голову мысль, с которой сейчас мы уже сжились. Будущее не бывает ни хорошим, ни плохим. Оно никогда не бывает таким, каким мы его ждем. И будущее всегда чуждо. Если бы Пушкин попал в наш мир, он мог бы ему понравиться или не понравиться, но главным свойством этого мира он счел бы его чуждость. Абсолютную далекость. Огромное количество точек несоприкосновения. Понятия, которые в его жизни были чем-то ценным и важным, превратились в ничто. И наоборот. Вот что самое главное. «Лес» — это будущее. А «Управление» — настоящее. Такова расстановка символов. Кандид, человек настоящего, не способен сколько-нибудь разумно определять, что хорошо и что плохо. Нет никакого критерия для разумного определения нравственных норм. Всем сердцем своим он на стороне прогресса, как каждый интеллигентный человек. Но в том мире прогресс выступает в такой форме, когда ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Мы говорим: человечество отягощено огромным количеством пороков и язв, зла. Но оно просуществовало сто тысяч лет и доказало, что оно жизнеспособно. Через мор, глад, гибель культуры — через все проходило человечество. И я не говорю, что будет хорошо. Я говорю — БУДЕТ. БУДУЩЕЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вот это и есть оптимизм конца XX века.

— Вы считаете себя последовательными? Не отказываетесь от своих прошлых идей?

Аркадий Стругацкий: — Нет. Частично они сыграли свою роль и угасли за ненадобностью. Но уже в «Стажерах» мы поставили вопросы, которые и впоследствии нас интересовали, и до сих пор интересуют. Мещанство. Мещанство и социализм. Мещанство и коммунизм. Мещанство и человечество. Роль мещанства. Можно ли ужиться с ним...

— Ну и как? Можно ужиться с мещанством или нет? Ваше мнение как писателя и как «бытового» человека? Может ли нормально развиваться общество, не изжив мещанства?

А. С.— Уберите пулеметы — и можно. Никакой страшной опасности оно не представляет. Эту идею высказал наш малолетний герой в «Гадких лебедях»: мы не собираемся разрушать старый мир, пусть он существует, сам по себе. С мещанством, с хиппи, со всем. А мы будем строить свой, параллельно, ничего не разваливая. Но и себе мешать не позволим.

— Значит, вы допускаете такой вариант благоденствия, когда часть общества будет только потреблять, и при этом без ущерба для общества в целом, для справедливости?

А. С.— Во-первых, потребительство — это не только мещанство, а мещанство — не только потребительство... А во-вторых, опасность потребительства существует в обществе слаборазвитом, голодном. В цивилизованном мире такой опасности нет уже сейчас. При условии параллельного развития экономики и культуры — а только такое развитие можно считать нормальным,— при условии лицейской, надежно обеспеченной государством системы воспитания я не вижу почвы для конфликта, условно говоря, мещанства и творческой части человечества. «Флора» — это тоже потребители. И лично мне, как и Борису, она отвратительна. Отвратительны хиппи, металлисты, панки. Но это физическое отвращение. Брезгливость. И это — наше личное отношение. Довольно исключительное дело. А стало быть, наша, а не их проблема. Родись мы не в такой семье, не пройди страшную войну, не ползай по трупам в блокаду, не примерзай мы мокрой спиной к стенке промороженного морозом вагона в эвакуацию... Может, и относились бы по-другому. Важно понимать: ситуация меняется. Лозунги, что труд облагораживает, а кто не работает, тот не ест, в экономически наполненном обществе теряют смысл. А если вы хотите созерцать, думать? А если вы хотите сидеть дома и воспитывать детей? Понятие работы меняется. Как меняются все понятия...

Борис Стругацкий: — А почему вы не спрашиваете ничего про Съезд народных депутатов *, про перестройку? Я ведь слушал все заседания, не пропуская ни одного, и во время нашего разговора записывал трансляцию на видео... Мне очень обидно, что со мной всегда говорят о будущем, о пришельцах, о множественности миров, всякая такая чепуха, как будто Стругацкие существуют совершенно отдельно от сегодняшнего дня. На одной писательской встрече мне даже хотелось крикнуть в зал: «Ну, спросите, спросите и меня о политике!»

— Хорошо. О Съезде. Что ваш оптимизм? Не пошатнулся?

Б. С.— Нисколько. Наоборот: неожиданным явилось то, что гласность живет. А до тех пор, пока гласность живет, даже вот такая урезанная, с выключенными микрофонами, с шиканьем и топаньем, пока она живет, мой оптимизм растет с каждым днем.

— А как же ваш тезис о тайной полиции? Гласность, благоденствие, все очень счастливы, а некий невинный человек будет получать пулю в лоб. Стало быть, и при гласности не будет справедливости?

Б. С.— Справедливость не так проста. В каком смысле вы употребили это слово, хотел бы я знать?

— В смысле — «каждому по делам его».

Б. С.— Тогда этого нет и никогда не будет. Возможна только такая ситуация, когда это правило выполняется для значительной части населения. Но никогда — для всех и каждого. А почему мы об этом заговорили? Мы ведь говорили о Съезде.

— Видимо, именно поэтому. Съезд и социальная справедливость.

Б. С.— Ну, сейчас мы от социальной справедливости далеки, как от Луны. И Съезд это продемонстрировал блестяще. Но как вы не понимаете: пока человек может на весь мир сказать все, что он думает, остальное второстепенно!

— Хорошо, гласность. Вот будут все говорить, что хотят. И дальше. И послезавтра. А потом? Сначала, конечно, было слово. Но не ограничилось же этим!

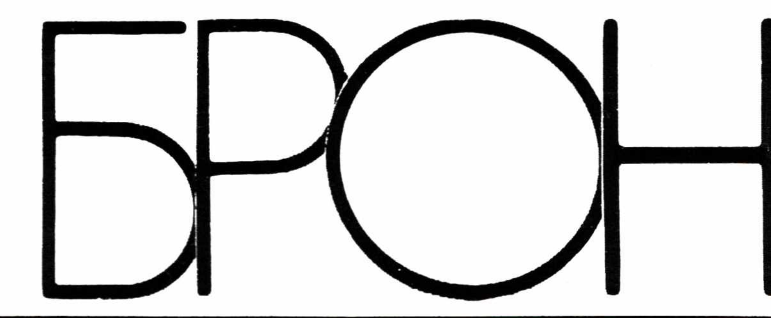
Б. С.— Развитие производительных сил накладывает отпечаток на деятельность всех правительств. Будут вырубать министерства и ведомства, убирать разорительный шкив между производителем и едоком, будут! Назад дороги нет. В болота Брежнева вернуться нельзя. В концлагеря Сталина нельзя вернуться тем более. Потому что это — экономические тупики. Значит, остается одно — хочешь не хочешь — при вперед. Съезд в нашей реальности пока ничего изменить не мог. Но он продемонстрировал новый уровень гласности. Сахаров на весь мир сказал, что он думал. Это не-бы-ва-лое. И это самое главное.

— На него уже зашикали.

Б. С.— А вы обратили внимание на один замечательный эпизод? Когда после Сахарова выступил некто с антисахаровской речью и когда все это агрессивное большинство начало радостно хлопать и все встали, Михаил Сергеевич сказал Лукьянову — на весь мир: «Что и требовалось доказать». Сказал с грустью. С горечью. Десять лет назад мне и в голову не приходило, что я могу до такого дожить. Так что у нас есть все основания для пессимизма. Это верно. Но это не ново. А ново то, что и для оптимизма основания тоже есть.

* Время беседы — июль 1989 года.

Людмила УЛИЦКАЯ — **РАССКАЗ**



Как рассказывала впоследствии Анна Марковна, Симку прибило в московский двор волной большого переселения еще до войны. Извозчик выгрузил ее, тощую, длинноносую, в завинченных вокруг худых ног чулках и больших мужских ботинках и, громко ругаясь, уехал. Симка, удачно отбрехиваясь вслед и крутя руками, как ветряная мельница, осталась посреди двора со своим имуществом, состоящим из огромной пятнастой перины, двух подушек и маленькой Броньки, прижимавшей к груди меньшую из двух подушек, ту, что была в розовом наперинке и напоминала дохлого поросенка.

Заселив, к неудовольствию прочих жильцов, камору при кухне и вынудив тем самым разнести по комнатам хранившийся там хлам, главным образом дырявые тазы и корыта, Симка не вызвала к себе большой любви будущих соседей, обитателей одного из самых ветхих строений сложно разветвленного двора.

Но операцией руководил управляющий домами Кузмичев, однорукий негодяй и доносчик, и все смолчали. Какой прок Кузмичеву было заселять в камору Симку, так никто и не узнал, но явно не за Симкину красоту. Видимо, она как-то удачно заморочила ему голову, на что, как выяснилось, она большая мастерица.

Симка вымыла общественной тряпкой пол в каморке,— тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала, на просохший пол поверх газет положила пухлую перину и обратилась к соседке Марии Васильевне с коренным вопросом:

— Послушайте, Мария Васильевна, а вообще здесь живут интеллигентные люди?

Мария Васильевна прямым ходом направила Симку к Анне Марковне, и через несколько минут Симка сидела перед белой скатертью, держа в руках кобальтовую чашку с золотым ободком, а бедная Анна Марковна, сочувственно кивая нарядной серебристо-курчавой головой, так что вспыхивал синий огонек то в одной, то в другой длинной мочке, прикидывала, сколько и чего надо дать просительнице и как одновременно оградить себя от ежедневных покушений простодушной нахалки.

Тончайшее взаимопонимание было полным, ибо Симка, рассказывая о своих злоключениях, отчасти вымышленных, виртуозно обходила подлинные события, оставляя то незаполненный пробел, то темную цензорскую вымарку, а Анна Марковна тактично не задавала тех вопросов, которые могли бы расстроить приблизительное правдоподобие повествования. Достоверным было лишь то, что Симка, похоронив мужа, сбежала с берегов Амура, невзирая на все препоны властей, начальства и небесных сил.

Через некоторое время Симка вынесла от Анны Марковны небольшое приданое, в котором было все — от керосинки до мелкой пуговицы. Одновременно с этим Симке было дано понять, что в случае необходимости она может обращаться за помощью, но к чаепитиям ее приглашать не собираются. Симку это вполне устраивало.

Как ни странно, она быстро вписалась в общественную жизнь. Двор принял ее, оценив острый язык и совершенно непривычный вид скандальности — с оттенком добродушия и готовности посреди самого крутого соседского междоусобья заливисто рассмеяться, обхватив руками грудную клетку, в которой самым выдающимся местом был мощный и костистый, как у старой курицы, киль.

В карьере Симки тоже наблюдался если не взлет, то рост: она по-прежнему была уборщицей, но из конторы управления домами перешла сначала в заводоуправление, а потом, уже перед самой войной, ее взяли в Наркомздрав.

В работе она была азартна и неутомима, начинала свой рабочий день в шесть утра, на казенной службе, потом бежала домой — кормить дочку, а потом шла справлять уборку мест общего пользования чуть ли не в половине квартир соседнего, приличного, постройки начала века, заселенного итээровцами дома. Так вертелась она с пяти утра до поздней ночи и жила не хуже других.

Самой удивительной Симкиной чертой было непомерное тщеславие. Она нахваливала свою половую тряпку, сшитую из мешковины лучшего сорта; развешивая весной для проветривания свою необъятную перину, она раздувалась от гордости так, будто на веревке перед ней качалась по меньшей мере соболья шуба; превозносила своего покойного мужа, лучшего из покойников; даже полное отсутствие зубов в собственном рту рассматривала как интереснейший факт, достойный если не восхищения, то удивления.

Главным пунктом, возносящим ее над всем прочим человечеством, была дочь Бронька, которая незаметно росла, лежа животом на подоконнике приподвального окна и разглядывая круглогодично меняющийся куст сирени и неизменно обтрепанные штаны мальчишек, пробегающих мимо окна в поисках неизвестно куда улетающего деревянного чижа.

Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним — с балетной летучей походкой, натянутым, как тетива, позвоночником и запрокинутой головой. Материнского нахальства не было в ней и следа. Взгляд ее был всегда вверх или мимо. Первыми бросались в глаза рыжеватые, растительно-пышные волосы да низкий, изысканной фигурной скобкой очерченный лоб, и лишь потом, при особо внимательном рассмотрении, видна была вся прочая ее красота, собранная из мелких неправильностей: чуть под углом поставленных прозрачно-белых передних зубов, немного приподнятой верхней губы и таких больших светло-желтых глаз, что казалось, они сдавливали переносицу и простирались до висков. И ко всему этому — обаятельно-сонливое выражение, как будто она только что проснулась и пытается вспомнить ускользнувший сон.

На групповой школьной фотографии сорок седьмого года двенадцатилетняя Бронька не смотрит в объектив. Она отвернулась: видна лишь часть щеки и толстая колбаса косы, скрученной над ухом.

Раздельное обучение уже ввели, но формы еще не узаконили. Одеты разномастно, но опытный взгляд определит

одну общую особенность: все в перешитом, в комбинированном, в перелицованном.

Впрочем, две девочки в передничках старорежимного покроя. Это Бронька и внучка Анны Марковны, преданной по гроб жизни гимназическим представлениям о мире, заслуживающим глубокого, но запоздалого уважения. Ирочка, в соответствии с идеалами бабушки, в темном платье с белым воротничком, имитирующим грядущую форму, Бронька — в шерстяной кофточке и сатиновых нарукавничках. Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушения обмена веществ стало известно позже, в более сытые, бескарточные времена. Бронька стоит немного боком, и заметно, что под фартучком ее проросла вполне заметная возвышенность.

Через два года, в седьмом классе, Бронька была с позором изъята из школы чуть ли не на последнем месяце беременности. Как это ни смешно, беременность Броньки классная руководительница Клавдия Дмитриевна, старая дева с черной круглой гребенкой в макушке, заметила раньше, чем дошлая Симка.

Симку вызвали в школу и оповестили.

Симка исследовала дочь и убедилась. Ее визг и вой оглушили ко всему привычную Котяшкину деревню — так поэтически назывался двор. Звуковая партитура действия, развернувшегося в Симкиной каморке, включала в себя, кроме проклятий на общедоступном русском языке, все возможные вокализы на «а-а», «о-о» и «у-у», звон стеклянной и грохот металлической посуды, а также треск кое-какой мебели и шлепки оплеух.

Справедливости ради надо сказать, что Бронька звуков никаких не издавала; это в конце концов обеспокоило соседей, и они вломились всем миром, облили Симку водой, увели белую и совершенно бесчувственную Броньку, а потом, поочередно и хором, стали внушать Симке, что дело житейское, со всеми случается и не надо так уж убиваться.



Рисунок Александра ХРОМОВА

ЬКА

Анна Марковна, посетившая знаменитое родительское собрание с бурным обсуждением, самоотверженно заменив свою дочь, женщину слабого здоровья, которую тошнило от одного только приближения к школе, на вопрос внучки Ирочки относительно Броньки сухо ответила, что у Броньки будет ребенок и больше в школе она не появится. При этом Анна Марковна так поджала губы, что стало понятно: никаких увлекательных подробностей Бронькиной биографии сообщено не будет.

Беременность свою Бронька доносила, не выходя из каморки, но, когда родился ребенок, как ни в чем не бывало вылезла с младенцем на прогулку. Она стояла в палисадничке чуть левее крыльца, с ребенком на руках, и прогулка ее продолжалась ровно полтора часа. Первое время дворовые мальчишки пытались высказать ей свое отношение к происшедшему, а также делали разнообразные предложения, связанные с посещением чердака или сараюшки, но Бронька поднимала свои прозрачные глаза, бесстыдно и снисходительно улыбалась и никогда не удостаивала их ответом. Она и прежде была молчалива, малообщительна и посвоему независима, а теперь и с матерью почти перестала разговаривать.

Для Симки это было дополнительным мучением. Она долго пытала дочь, кто осчастливил ее потомством, и в душе лелеяла ужасно облегчительную версию изнасилования. Но Бронька молчала, как скала, не проявляя никакого смущения. Это приводило Симку в полную ярость, но ничто не могло поколебать спокойствия Броньки. Пожалуй, выражение ее лица можно было назвать счастливым.

Рождение ребенка, вместе с нераскрытой тайной отцовства, отнюдь не разрушило Симкиного тщеславия. Мальчик, которого назвали Юрочкой,

вышел в другую породу — темненький, сероглазый, и Симка, восхищаясь правильной миловидностью внука, все всматривалась в его черты, надеясь уловить сходство. С кем? Неизвестно...

Поведение Броньки, как до рождения ребенка, так и после, было безукоризненным. Она и раньше не толклась по подворотням и чердакам, не заглядывала в голубятни к проворным молодцам в повернутых назад козырьками кепках, а теперь, при младенце, пролетала своей балетной походкой в магазин, когда ее посылала за чем-нибудь мать, и совсем уж бегом неслась обратно, боясь оставить младенца без личного присмотра на лишнюю минуту. Вечерами обычно она сидела в своей клетушке на кровати и, если не кормила, просто любовалась спящим сыном.

Симка, проникаясь иногда взбалмошным сочувствием к одиночеству дочери, гнала ее из дому: пошла бы, что ли, в гости, к подружкам! Но Бронька пожимала плечами и отказывалась. Те школьные девочки, с которыми она недавно ходила в седьмой класс, смотрели на нее издали округлившимися от ужаса глазами и вовсе не испытывали желания поддерживать с ней отношения. Только отважная Ира подошла однажды к прогуливающей ребенка Броньке и попросила разрешения на него посмотреть. Бронька отвела от личика сына простынку, и бывшая одноклассница восхитилась:

— Вот это да! Хорошенький какой!

И ушла, смутно размышляя о том, что при всем ужасающем стыде такого события ребеночек очень симпатичный, а Бронька принадлежит отныне к миру более серьезному, чем тот, в котором пребывают теорема подобия треугольников, выборы в учком и скакание через кожаного козла. Для своих четырнадцати лет, принимая во внимание общую оголтелость того времени, Ира была девочкой неглупой, хотя дружить ей с Бронькой было совершенно не о чем.

К тому времени как мальчик Юрочка пошел и стал лепетать свои «баба» и «мама», обнаружилось, что Бронька опять глубоко беременна. Симка на этот раз не устроила скандала, но произвела строгое разыскание. Она унизилась до того, что расспрашивала Марию Васильевну, не ходит ли кто к Броньке, пока она, Симка, на работе. Соседки, обсудив и осудив на кухонном собрании всесторонне Бронькино поведение, единодушно признали, что мужиков к себе Бронька не водила. По крайней мере никто ее за этим не накрыл. Вела она себя при этом так тихо и скромно, так смиренно и безразлично выслушивала полагающиеся ей всякие слова, что общаться с ней соседям было неинтересно. Пожалуй, ее даже жалели.

Так или иначе, родился второй мальчик, в точности похожий на первого, тоже темненький, смугловатый, с круглыми серыми глазами. Бронька — вместо того чтобы рвать на себе волосы — была совершенно счастлива, играла с детьми, как молодая кошка с котятами, кормила младшего грудью, не отказывала иногда и старшему. Он был умненький и, отсосав дочиста после младшего брата остатки молока, говорил «спасибо».

С самого рождения младшего Юрочка воспылал к нему нежным чувством, которое с годами нисколько не умалялось. Дети были улыбчивыми, ласковыми, соседи их любили и баловали чем могли, жалея Симку и дуреху Броньку. Кто совал пирожок, кто печенье. Виктор Петрович Попов, старый фотограф на пенсии, проживающий одиноко в восемнадцатиметровой, самой большой в квартире комнате, иногда пускал их к себе играть. Они садились на полу, на мелкорисунчатом красном ковре, а он вырезал им из черной бумаги зверей...

А Бронька опять стала беременная. Симкина еврейская душа, закаленная в тысячелетних огнях и водах диаспоры, вкупе с собственным дважды переселенческим опытом, не выдерживала этого наваждения: дочь приносила что ни год по ребенку, ни одного мужика не было и в помине. Симка выбивалась из сил. Стала попивать.

Теснота в каморке была такая, что Симка с двумя детьми спала на своей знаменитой перине, а Бронька ставила себе раскладушку на кухне, возле двери каморки, и спала там, привязанная за ногу веревкой, которую Симка, отроду не читавшая Боккаччо, держала в своей крепкой руке. Третья Бронькина беременность, уже всем заметная, не ослабляла тщетной материнской бдительности.

Новенький Бронькин сын Гришка родился в день ее рождения, когда ей исполнилось семнадцать лет. В отличие от своих старших братьев он был болезненным и крикливым. Бронька до года не спускала его с рук. Он несуразно двигал ручками, кривил обиженно рот, и Симка прикипела к нему душой.

Старшие, Юрка и Мишка, целыми днями вертелись на кухне, пока старуха Кротова не вылила однажды на Мишку кастрюлю горячего супу. С этих пор Бронька перестала выпускать их на кухню и, если погода была плохая, они сидели в комнате старого Попова, который вырезал им из черной бумаги целый мир, населив его диковинными безымянными зверями, читал сказки Андерсена в плохих переводах и никогда не проявлял ни усталости, ни раздражения.

Младшенький постепенно выправлялся, хотя ходить стал поздно, после полутора лет, и задерживался немного в развитии, Бронька возилась с ним больше, чем со старшими, но усиленные заботы о детях не помешали ей в положенный срок забрюхатеть. Соседи уже и удивляться перестали такой детородной способности. Симка же к рождению очередного внука стала относиться с той же неизбежностью, как к смене сезона.

Последний сын Броньки, Сашка, был того же смугло-сероглазого образца, родился он незадолго до смерти старого фотографа, и в самый день похорон Симка, Бронька и четверо детей, после небольших поминок и крупного кухонного скандала, разразившегося по поводу самовольного вселения Симкиных в бывшую комнату Попова, въехали туда и зажили по-царски.

В первый же вечер подвыпившая Симка кричала на кухне Броньке, моющей под краном детские бутылочки,— молока у нее на четвертого не пришло:

— Шлюха ты, Бронька, шлюха! Я смолоду одна, из-за тебя одна осталась! Ты думаешь, я замуж выйти не могла? Рожай, рожай, не стесняй себя, шалава! На восемнадцать-то метров этого гороха во-он сколько уложить можно! — И плакала, стряхивала со щек слезы. Бронька дернулась, бутылочки звякнули о металлическую раковину. Руки ее пошли вверх, она запрокинулась и упала на цементный пол.

А потом Бронька успокоилась. Младшему исполнился и год, и три, и Юрочка уже пошел в школу, в ту самую, из которой его когда-то выгнали вместе с матерью. Школа была уже не раздельнополой, а общей. Девочки ходили в гимназических формах, мальчики были стрижены наголо и только некоторые, богема и вольнодумцы, от молодых ногтей обрекшие себя на противостояние обществу, носили прозрачные, как рыбий хвост, чубчики. Учился Юрочка у тех самых учителей, которые ничему хорошему не выучили его непутевую мать.

Бронька пошла работать в булочную уборщицей. При булочной была пекарня, и, кроме зарплаты, Броньке давали хлеба — сколько съест, и четверо ее ребят на этом припеке росли один в один, рослые, крепкие. Даже болезненный Гришка выровнялся, и были они ровные, как дети одного отца.

Во дворе, среди сверстников, они верховодили — да и как было противостоять их братскому фаланстеру? Время от времени отворялась форточка, и Симка хрипло кричала:

— Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой!

И была какая-то смешная музыка в этом гортанном выкрике. Теперь Симкино тщеславие кормилось от этих исключительных, таких удачных, таких талантливых — слава Богу! — и таких умных,— Боже мой! — и здоровых — тьфу-тьфу, не сглазить! — мальчиков.

Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они и начинались. Ходили слухи, что ее снесут. Симка, пронырливая Симка, еще загодя устроилась работать в райисполком уборщицей, какая-то комиссия перемерила ей комнату, и оказалось, что в ней не восемнадцать метров, а семнадцать и восемь десятых, и, стало быть, приходится меньше трех метров на человека, и они получили трехкомнатную квартиру раньше всех, еще до всеобщего капитального выселения.

Никто не верил, пока Симка не повезла соседей на эту самую Вятскую улицу, за Савеловским вокзалом, куда ходил трамвай прямо от Новослободской, и показала эту самую квартиру, даже с ванной.

Первое время Бронькины мальчики часто приезжали в старый двор, а потом привыкли к новому, да и старый стал меняться, ветхие строения, дровяные сараи и голубятни сносили, жильцы разъезжались. Кончались последние остатки провинциальной Москвы с немощеными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с бамбуками и золотыми шарами...

* * *

Ирина Михайловна, полная и немолодая уже женщина с серебристо-курчавой головой и синими огоньками алмазов в длинных мочках ушей, промахнулась со временем. Она должна была встретиться со своим мужем Сергеем Ивановичем на площади Маяковского в семь часов, но заседание кафедры отменилось, и у нее образовалось окно в два с лишним часа. Ехать домой было не с руки, поскольку они собирались с мужем ехать в гости на другой конец Москвы.

Она приехала на площадь много раньше назначенного времени, намереваясь зайти в магазин «Малыш» и купить что-то внуку, но магазин был на ремонте, и она стояла в растерянности, оказавшись в пустом, не запланированном и не расписанном на минуты заранее времени. Огляделась по сторонам обновленным и бесцельным взглядом и увидела то, чего лет тридцать не замечала: как постепенно, исподволь изменилась площадь, как мало осталось домов того ранне-послевоенного времени, когда она бегала к памятнику на свидание к Сереже; и какая стоит хорошая дымчатая осень, без сильного света, но и без ранних дождей.

Ирина Михайловна впала в несвойственное ей элегическое настроение. Ей некуда было спешить, и было прекрасно.

Она купила зачем-то букет мелких разноцветных астр, улыбнулась его жизнерадостной безвкусице, а потом подошла к филармонической будочке, торгующей билетами, и стала рассеянно изучать большой лист с перечислением абонементов.

Сидящая в будочке женщина, вытянув шею, с не меньшим интересом изучала самою Ирину Михайловну, а изучив, окликнула:

— Ира! Ирочка!!

Ирина Михайловна посмотрела на женщину, и сердце ее защемило: лицо было таким родным, мучительно-знакомым, словно бы выученным когда-то наизусть. Фигурная скобка лба, узкий носик, тонкая переносица и по-египетски, до висков, раскинувшиеся глаза — лицо незабываемое и забытое, как многажды виденный сон... в детстве... в детстве... еще одно усилие памяти, еще один нырок на заповедное дно.

— Не узнаешь? — умоляюще улыбнулась женщина, и продольная вмятинка обозначилась на щеке.— Неужели не узнаешь?

— Господи, Бронька! — изумилась Ирина Михайловна, которая мысленно перебирала самых отдаленных родственников по отцовской линии.

— Я, Ирочка, я! Бронька! — И радость в ней была такая, что Ирина Михайловна даже смутилась. А Бронька моргала ресницами и собиралась плакать. Она закрыла окошечко и выбралась из будки.

— Подожди, подожди, ради Бога,— зачастила она.— Ты ведь не спешишь? — спросила с надеждой в голосе. Вышла из будки и оказалась такой же маленькой и худенькой, как в детстве.

Она обхватила Ирину, и уткнувшись ей в бок, уже сквозь быстрые легковесные слезы, говорила скороговоркой:

— Ирочка! Ой, Ирочка! Да как же я рада, что ты нашлась! Ты ведь у меня одна подруга была, других не было... Если бы ты знала, что ты для меня в детстве значила... Ведь единственная подруга... Я помню, помню, как ты Юрочку просила показать... И бабушка твоя... она нам помогала. Ирочка, вот радость-то...— Бронька смахнула со щеки слезу.

Ирина Михайловна слегка забеспокоилась: неожиданность узнавания, легкое волнение от касания к детству уже прошло, а Бронька, судя по настораживающе-истерической ноте, была немного не в себе, так показалось Ирине, человеку сдержанному и не расположенному к открытым эмоциям.

— Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко, рядом, три минуты,— умоляюще предложила Бронька.

Ирина посмотрела на часы,— пустого времени было два часа.

— У меня есть минут сорок, я с мужем договорилась здесь встретиться,— ответила Ирина, а Бронька уже засовывала в большую кожаную сумку кипу билетов и запирала будку.

Тут только заметила Ирина Михайловна, что выглядит Бронька невероятно моложаво и одета в такой зеленый лайковый костюм, которые отнюдь не на каждом углу продаются.

— Пойдем, пойдем же,— теребила Бронька Ирину и уже волокла куда-то через дорогу.— Я тут рядом. А мама, мама как тебе обрадуется...— И снова Бронька говорила о том, как Ира была единственной подругой во все времена ее ужасного, ужасного, невыносимого детства...

— Мама-то жива, подумать... сколько же ей лет? — удивилась Ирина.

— Восемьдесят четыре. Инсульт у нее был, ходит с палкой, скандалит. С памятью не все, конечно, в порядке, забывает, что близко... А прошлое помнит очень хорошо. Не хуже меня,— с оттенком умной грусти сказала Бронька.

Они вошли в хороший, из тех, что прежде назывались генеральскими, дом, в приличную квартиру. Когда хлопнула дверь, раздалось шарканье и стук палки. В коридор вышла Симка, сморщенная, воспаленно-красного цвета, голова ее была повязана косынкой, все тем же фасоном — козой, с двумя рожками надо лбом. Двумя руками она опиралась о палку, подволакивала левую ногу, сухое личико ее было искривлено съехавшим вниз ртом.

— А, это ты пришла, я думала, Лева,— не совсем внятно произнесла старая Симка.

— Мама, Лева уехал в командировку, в командировке Лева,— крикнула Бронька, а Ирине сказала тихо:

— Муж в командировке вторую неделю, а она никак запомнить не может.

И снова, близко к крику:

— Мама, ты посмотри, кто к нам пришел! Это Ирочка, внучка Анны Марковны. Ты помнишь Анну Марковну, в старом дворе?

— А-а,— кивнула Симка.— Конечно, я помню Анну Марковну. Она жива? Нет?

— Давно умерла. Почти двадцать

лет,— ответила Ирина, испытывая странное чувство замешательства.— И бабушка, и дедушка, и мамы давно уже нет.

— Анна Марковна была хорошая женщина,— снисходительно, словно от ее мнения зависело нынешнее благосостояние покойной.— Она меня очень уважала, очень уважала,— с гримасой гордого достоинства выговорила с некоторым трудом Симка.

Ирина Михайловна никак не могла вспомнить ее отчества. Не могла,— потому что никогда его не знала. Никто никогда не знал отчества Симки,— по крайней мере в те времена...

Бронька отвела мать в дальнюю комнату. Ирина огляделась: безликое жилье, со стандартной, как у самой Ирины, стенкой, множество дорогой музыкальной техники...

— Я чайник поставлю,— сказала Бронька.— У меня конфеты есть «Юбилейные», большая редкость теперь...

Широкие рукава шелковой блузки красиво летали за тонкими Бронькиными руками, когда она доставала конфеты с высокой полки. Она подняла руку, поправила заколку в русых, еще сохранивших рыжий отсвет волосах, и все жесты ее казались Ирине необыкновенно женственными, красивыми. А Бронька все бормотала свое:

— Ирочка, сколько лет, Ирочка. Боже мой, сколько же лет...

«А Бронька-то красавица»,— вдруг догадалась Ирина. Раньше ей и в голову такое не приходило. Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая. «В те годы мы такой красоты не понимали,— подумала Ирина.— Она была слишком тонка по тем временам».

Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки, Ирина очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола и как бабушка, склонив набок голову, слушает скороговорную, не совсем внятную речь, перемежаемую резкими жестами, которые все кажутся невпопад, а она, Ирочка, сидит под золоченым круглым столиком в углу комнаты и смотрит на странную гостью через бежевую бахрому скатерти, свисающей до самого пола.

— Как мальчики твои? — спросила Ирина.

— Хорошо, Ирочка. Взрослые. Мало сказать, взрослые... Сейчас покажу,— и вынула шкатулку, а из нее пластиковые стопки ярких цветных фотографий.— Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое. Богатый. Не по-нашему, по-настоящему. Это жена его, трое детей. Американцы. Девочки красивые, правда? Внучка Джейн. А это Мишка. Он врач-невропатолог. Он там образование получил. Юрочка ему помог. Это мои американцы. Это Мишина жена, китаянка. Представь, на китаянке женился. У них там, в Америке, все перемешано. Особенно в Калифорнии.

Ирина с интересом смотрела на красивых крепких людей, на неестественно яркую, фальшивую по краскам жизнь, а Бронька взяла скромную стопку черно-белых и продолжала:

— А Гришка и Сашка здесь с нами. То есть не с нами. Гришенька на Вятской живет. Развелся он, как-то неладно у него, а Саша в Ленинграде. Внуков нарожали. Две девочки у нас есть. Джейн у Юры и вот эта, Лилечка, Сашина. А это Левы, мужа моего, дочка от первого брака... Сейчас чай принесу.— Бронька улыбнулась и вышла.

Перед Ириной лежала горка фотографий, так же далеко отстоящих от подлинной жизни, как Бронька в сером деревенском платке, с ребенком, завернутым в тяжелое ватное одеяло, слева от крыльца почти сорок лет тому назад, с той только разницей, что фотографии были лживы и реальны, а облик Броньки того времени правдив, но неволотим...

— Ах, как я рада, как я рада тебя видеть,— с простодушным многословием повторяла Бронька.— Но ты расскажи о себе, как ты-то живешь? Что делаешь?

Ирина улыбнулась, пожала плечами,— она жила хорошо.

— Хорошо,— сказала она,— дочка... в аспирантуре, внук, муж профессор, я преподаю... доцент, в институте,— и вдруг в душе ее возникла необъяснимая тень недовольства своей жизнью, неловкости за свое полное и заслуженное благополучие. «Да нет, глупости,— промелькнуло в мыслях,— чего же плохого в том, что родители дали мне хорошее образование и обеспечили всем необходимым для жизни и мы все то же дали своей дочери...» И она, вернувшись глазами к фотографиям, сменила тему:

— Хорошие фотографии... Я очень люблю фотографии.

— Да? — со странным выражением спросила Бронька.— Ты действительно любишь фотографии?

Ирина кивнула.

Бронька исчезла в смежной комнате, что-то там грохнуло, посыпалось, прошло еще несколько минут, и она появилась, держа в руках довольно большую пыльную папку. Сдула пыль и положила ее перед Ириной.

— Посмотри вот эти.

Ирина развязала тесемку папки. Сверху лежала старинная бледно-коричневая фотография крупного формата.

Совсем юный темноволосый студент со свежими, недавно отпущенными усами сидел в кресле, расслабленно положив правую руку на маленький круглый столик, в центре которого, на месте предполагаемой вазы с цветами, лежала новая фуражка. Смутная улыбка бликовала на губах, бодро сверкали металлические пуговицы необношенного мундира.

На шелковистом коричневом картоне стоял золотой факсимильный росчерк и строгий штампик: Салон Теодора Гросицкого, Ново-Ивановский Спуск. Саратовъ.

— Теодор Гросицкий был из семьи ссыльных поляков, огромный человек, пьяница и задира. Но был он очень добрым и удивительным мастером в фотографии. На спор пошел он в ледолом через Волгу и не вернулся. Утонул. Один из его фотоаппаратов долго хранился у нас, а потом дети его изничтожили,— с неожиданной интонацией смотрителя музея сказала Бронька.

На следующей фотографии, тоже приклеенной на коричневато-серый картон, на фоне темного мелкорисунчатого ковра, подтянув колени к подбородку и обхватив руками маленькие голые ступни, в чем-то светло-кружевном, дамском, сидит юная девушка, удивительно похожая на Броньку.

— Красивая фотография, правда? Мастер делал,— улыбнулась Бронька и положила перед недоумевающей Ириной еще одну.— Из овала смотрела еще одна Бронька, в маленькой, нэповских времен, шляпке с большим бантом; волосы густо лежат на плечах, вид томный и лукавый. Фотография по виду старинная.

— Да, да, я,— подтвердила Бронька.— Пятнадцати лет.

А в руках у нее была уже небольшая, формата открытки фотография того же красивого студента, на этот раз в косоворотке с незастегнутыми верхними пуговицами, рядом с юной, но как будто слегка располневшей Бронькой, защищенной от солнца пышным сборчатым зонтом.

— Вот здесь,— Бронька указала в глубь фотографии,— была беседка, а оттуда — спуск к реке. После дождя глиняные ступени становились ужасно скользкими, и поставили легкие металлические перильца, выкрашенные в белый цвет.

«Бред какой-то. Видимо, это какая-то очень похожая женщина на фотографии, а Бронька на почве этого сходства сошла с ума»,— объяснила себе Ирина странные Бронькины слова.

Рядом легла еще одна фотография, с уже знакомым сюжетом: тот же молодой студент в кресле, те же крупные и мелкие складки занавеса, но по левую сторону, симметрично, в таком же кресле сидит тоненькая девушка с подобранными вверх, закрученными на широкую ленту дымчатыми волосами. Она смотрит на молодого человека, он смотрит в объектив. Девушка все та же.

— Странно, не узнаешь! И это я. А фотография сделана в одиннадцатом году, и я прекрасно знаю все обстоятельства этого дня, и дом, и улицу, где все это было...

«Определенно сумасшедшая,— подумала Ирина.— Нелепость какая-то или детское бессмысленное вранье?»

Бронька правильно прочла Иринины мысли.

— Нет, я не сумасшедшая. Рассказать? — Бронька опустила подбородок в ладони, оттянув наверх щеки, отчего лицо ее не стало некрасивым.— Действительно рассказать?

Ирина кивнула.

— Ты, Ирочка, единственный человек, который еще может его помнить... Скажи, помнишь Виктора Петровича Попова?

— Попова? — переспросила Ирина.— Нет, не помню.

— Старый фотограф, он иногда ходил к твоему деду в шахматы играть. Высокий, худой, по виду барин. Не помнишь?

— Нет. К деду много народу ходило. Ученики, друзья. А в шахматы он играл обычно со своим ассистентом Гречковым. Попова не помню, нет.

— Жаль,— вздохнула Бронька.— Впрочем, теперь это неважно, фотография эта — монтаж. И эта.— Она ткнула пальцем в себя с зонтиком.— Здесь он был со своей сестрой. Он очень любил меня фотографировать. Он был не просто фотограф, он был художник, актеров снимал и для музеев фотографии делал. Что-то он переснимал, клеил, ретушировал. Один раз театральный костюм принес, сфотографировал меня в нем. Он, Ирочка, считал меня красавицей.— Бронька засмеялась тихим глуповатым смехом.— Ты правильно, правильно подумала. Конечно, я сумасшедшая. В детстве я была совершенно сумасшедшая. Жила как во сне. Как в кошмарном сне. Мне все казалось, что, вот, проснусь, и все будет хорошо и правильно. Хотя, как правильно, и понятия не имела. Я только твердо знала, что не могут так люди жить, как мы жили. Так есть, спать, разговаривать. Мне все казалось: сейчас это кончится, и начнется другое, настоящее. Я все ждала каждую минуту, что все это распадется и исчезнет, и настанет новая, правильная жизнь, без этого безобразия... А, ты этого не знала. Белая скатерть и синие чашки на столе, о чем моя мать мечтала,— это же все у тебя было, может, ты и не знаешь этой детской тоски, а может, это было такое психическое расстройство.

Ирина внимательно слушала Броньку, ошеломленно и с тонкой неприязнью: не должно было быть у этой маленькой бывшей потаскушки, посмешища всего двора, таких сложных чувств, глубоких переживаний. Это нарушало представление о жизни, которые были у Ирины Михайловны тверды и плотны...

— Ах, как жаль, что ты не помнишь Виктора Петровича,— продолжала Бронька.— Он был наш сосед. Мать просила его, чтоб он помог мне по математике, я стала ходить к нему в шестом классе. Ира, он обращался ко мне на «вы»! Он ко всем обращался на «вы»! Вокруг него, как это тебе объяснить, была другая жизнь, и она не касалась той, которой жили все остальные... Он ото всего был как-то огражден, относился с уважением ко всем, даже к кошке. Хамство ужасное и грубость, ты даже представить себе не можешь, какое хамство, а его это не касалось. Я приходила к нему — по алгебре ничего не соображаю и соображать не хочу. Хочу сидеть за его столом и не уходить. У него в комнате, как на острове. А я тупа была! Ничего не понимала, а к этим буковкам алгебраическим у меня такое отвращение было!.. А он терпелив необыкновенно, ни одного раздраженного слова.

Однажды он показал мне фотографии — старые семейные фотографии, вот эти. И рассказал. О своем отце, о матери, о Теодоре Гросицком, о кузинах... Господи, что со мной стало! Как я плакала... Виктор Петрович испугался, понять не может: «Что с вами? Что с вами?» А я на фотографиях и в рассказах узнала ту жизнь, которая должна... которую я все ждала... не знала, что она прошлая, а не будущая и ко мне вообще никакого отношения не имеет, а мне вот все это невыносимое, что в нашей квартире, в нашем дворе...

А Виктор Петрович, он и в старости был очень красив, очень. С тех пор я не встречала таких красивых людей. Теперь я понимаю, что в молодые годы — видишь ту фотографию,— он не был так красив, как в старости. Но это теперь. А тогда я смотрела как раз наоборот — видела в нем этого студента в новеньком мундире. Он был для меня Богом, Ирочка.

Когда я поняла, что никакого другого — такого! — нет на свете, тупость моя прошла, я стала сообразительна и остра. О возрасте же и моем, и его я совершенно не задумывалась, а замечу тебе, что Виктору Петровичу было тогда шестьдесят девять лет. А мне не было и четырнадцати...

А когда Юрочка родился, я выйду, стану возле его окна, а он в кресле сидит, через занавеску на нас смотрит. Сколько мы гуляем, столько он на нас смотрит...

Ирина сидела с синей чашкой в руке, на золотом ободке отпечатался след ее малиновой помады. Она слушала Броньку как сквозь сон, как сквозь воду.

— ...Умирал Виктор Петрович три дня. Умер от пневмонии. Трудно ему было. Задыхался. Я от него не отходила. Он глаза открыл и говорил: «Душа моя, спасибо. Господи, спасибо». Вот и все...

А мать моя была очень догадлива, она сразу догадалась, что я на комнату Виктора Петровича мечу. И пока он умирал, она мне не мешала, даже в комнату не входила. Детей держала, только под конец он попросил, чтобы пришли. Ну, Сашенька-то всего два месяца было... Такие дела, Ирочка. Тайна моя, за которую я бы умерла тридцать лет назад, теперь ничего не стоит. И никому неинтересна... Даже матери моей...

Ирина Михайловна посмотрела на часы. Муж уже ждал ее на Маяковке.

— Спасибо тебе, Броня. Я опаздываю, меня муж ждет. Я рада, что мы встретились.

Бронька проводила ее к двери.

— Нужны будут какие-нибудь билеты, заходи. Я все могу достать. Спасибо тебе. Такая радость.

Они поцеловались. Ирина ушла. Телефонами они не обменялись. ...Стояла все та же дымчатая осень, и день недели был тот же, и год, но Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое изменение и никак не могла понять, что же произошло... Ее собственная жизнь, и жизнь родителей, и жизнь дочери показались вдруг обесцененными, обесцвеченными, хотя все было достойно и правильно — старики в их семье умирали в преклонном возрасте, взрослые были здоровыми и трудолюбивыми, а дети — послушными...

И вспомнила, вспомнила Ирина Виктора Петровича, худого обтрепанного старика с твердым бритым лицом, чистыми усами, светлыми глазами в складчатых кожаных мешках и черносеребряным перстнем на желтой руке...

И нелепая, дикая, ничем не объяснимая зависть к Броньке зашевелилась в ее сердце. Впрочем, всего на одну минуту...



ЧТО ПРОИСХОДИ С НАМИ?

Фото Игоря ГАВРИЛОВА



НОВЫЙ ФИЛЬМ ЮРИСА ПОДНИЕКСА

Создатели фильма «Мы» в начале работы даже не предполагали, что у них получится в итоге. Они начали снимать жизнь маленького русского города Переславль-Залесского (сюжет был локален и прост), но здесь к авторам пришла иная идея: начав с тихой провинции, снять фильм о всей стране, о самых громких и острых событиях, встретиться с участниками, чтобы, общаясь с ними, понять: кто мы, сегодняшние, что с нами происходит?

В результате напряженной работы в течение двух с половиной лет по заказу британской телекомпании «Централ» снят пятисерийный документальный фильм, где, как в фокусе, оказались соединены, стянуты трагедии Чернобыля и Армении, национальные движения в Прибалтике и Грузии, волнения в Узбекистане и Нагорном Карабахе. О происходящем рассказывают, его анализируют и оценивают политические деятели — Сахаров, Ельцин и рядовые участники событий: солдаты из Сумгаита, композитор, бастующий рабочий, священник...

Музыку к фильму написал Алексей Рыбников.

Получилась лента, где сильнейший по воздействию информационный ряд соединен с глубокими раздумьями о прошлом, настоящем и будущем нашего общества. Фильм, где много открытий и много боли. Фильм о поисках истины, о пути, которым идем.

В. ЮМАШЕВ

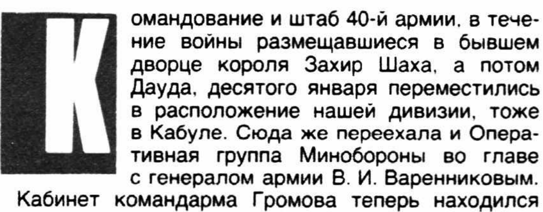
Прокат русскоязычного варианта фильма «Мы» в нашей стране будет осуществлен только через знакомую нашим читателям организацию — «Огонек-видео». Заявки на приобретение трех видеокассет с записью фильма принимаются по адресу: 117313, Москва, аб. ящик 843, тел. 212-15-79.

СПРЯТАННАЯ ВОЙНА

Все... Кончилось...
Снимок этот сделан в 8.45 15 февраля 1989 года в момент завершения вывода наших войск из Афганистана.
В момент завершения девятилетней войны.
И не совсем ясно, что в таких случаях подобает делать — смеяться, плакать, отсыпаться, выть, молчать, вспоминать, материться, проклинать, мечтать или молиться Богу, благодарить Его за то, что оставил в живых...
Сколько светлых, честных и порядочных людей я повстречал на этой войне, ежесекундно бросавшей их (солдат, генералов, послов и министров) в сложнейшие — с точки зрения морали и нравственности — ситуации.
И низкий поклон тем, кто в нечеловеческих условиях находил в себе силы оставаться человеком.

Артем БОРОВИК
Фото автора.

V



Командование и штаб 40-й армии, в течение войны размещавшиеся в бывшем дворце короля Захир Шаха, а потом Дауда, десятого января переместились в расположение нашей дивизии, тоже в Кабуле. Сюда же переехала и Оперативная группа Минобороны во главе с генералом армии В. И. Варенниковым.

Кабинет командарма Громова теперь находился в одноэтажном модуле. Его рабочий день начинался в 5.30 утра и длился до 20.30. Лишь иногда днем командующий совершал короткую прогулку и опять возвращался на рабочее место.

Громов не отличается высоким ростом. Напротив, приземист, крепко сбит. Короткая мальчишеская челка, чуть прикрывавшая сверху сильный, выпуклый лоб, молодила его усталое лицо. Взгляд светлых глаз был твердым, даже упрямым. Что-то неразгаданно-наполеоновское таилось в нем. Генерала любили. Все знали о том, что несколько лет назад он потерял жену. Она погибла в авиакатастрофе, оставив Громову двух сыновей.

Еще находясь в Кабуле, он был назначен командующим войсками Киевского военного округа.

— Каковы заслуги Громова как командующего 40-й армией? — спросил я его однажды.

— Заслуги есть,— ответил он,— но не одного Громова, а всех офицеров. Я прибыл сюда летом 87-го. За полгода нам удалось уменьшить людские потери армии приблизительно в полтора раза, а потери техники в два. Причем это связано не только с тем, что боевые действия пошли на убыль, но и с улучшением подготовки солдат.

— А потери отрядов вооруженной оппозиции?

— Я не располагаю точной статистикой. С 80-го года они каждый год теряли все больше и больше людей. Однако на протяжении последних четырех лет их потери были стабильными, не возрастали. Они ведь тоже научились воевать.

Через окно было видно медленно падавшее за горизонт солнце. Закат проходил под аккомпанемент далекой артиллерии.

Громов задернул пестрые занавески, включил электрический свет. Достал золотистый блок сигарет. Распечатав его, закурил.

— Это «Астор». Хотите?

— Спасибо, товарищ командующий. Не откажусь.

До встречи с ним мне казалось, что если он и курит, то непременно что-нибудь очень крепкое и без фильтра. Сигареты «Астор», напротив, относились к разряду «женских» — слабые, с золотым колечком на тонком длинном фильтре.

— Какие дни были для вас самыми тяжелыми в Афганистане? — спросил я.

— Начало вывода войск,— ответил он, не раздумывая.— Отправили первые две колонны из Кабула. Думали, оппозиция начнет бить им по хвостам. Но все обошлось. Однако тяжелее всего оказалось выводить армейские части из Кандагара. Район очень трудный. Вдоль дороги сплошняком тянется «зеленка». Афганских войск маловато, да и уровень их подготовки оставлял тогда желать лучшего.

— Но сейчас-то легче?

— Пока рано говорить. Проблема номер один — Саланг. За последние двое суток лишь на одном семидесятикилометровом участке сошло тридцать девять лавин. В районе Южного Саланга Ахмад Шах сосредоточил сильную группировку — более четырех тысяч вооруженных людей. Такого скопления еще никогда там не было. С ее помощью он планирует перекрыть дорогу на Кабул после нашего ухода. А это будет равнозначно блокаде столицы. Хоть Масуд и обещает не трогать наши колонны, мы не можем верить ему на слово. Допускаю, что он скоро развяжет боевые действия... Понимаете, сложность состоит в том, что мы ограничены во времени. Мы обязаны покинуть страну к 8.30 утра пятнадцатого февраля. Если задержимся на несколько часов,— мировой скандал. А на дороге лавины, лед. Техника идет медленно, все время остановки, пробки, аварии... Тут еще Ахмад Шах со своими четырьмя тысячами. Так что голове есть о чем болеть.

— Какое подразделение последним покинет Афганистан?

— Разведбат бывшей кундузской дивизии. Но я пересеку мост через Амударью самым последним. Пешком.

— Вы уже знаете, что скажете в минуту окончания войны?

— Да: за моей спиной нет ни одного советского солдата.

— И все?

— Не совсем. То, что я скажу затем, не сможет выдержать ни один репортерский магнитофон,— взорвется!

— Что вас ждет дальше?

— Киев. Киевский военный округ. Там я никогда не был. Кабул знаю значительно лучше, чем украинскую столицу... Я ведь уже третий раз в Афганистане. Когда уезжаешь — среди наших бытует такая примета,— никогда нельзя говорить, что ты тут в последний раз. Вместо «последний» следует употреблять — «крайний». Но я ею пренебрег. Улетая домой после первого захода, сказал: «Прощайте, братцы, обнимемся напоследок!» Но не прошло и нескольких лет, как я вернулся. Уезжая во второй раз, сказал себе: «Все, Громов, это твой последний приезд сюда — железобетонно!» Но судьба распорядилась иначе. И вот я здесь сижу — с вами разговариваю, а про себя думаю: «Это мой крайний раз!»

— Боитесь, что опять пошлют?

Громов выпустил дым сквозь сжатые зубы, вдохнул его носом. Откинувшись на спинку кресла, сказал:

— Нет. Это точка. Все!

Но я не понял, к чему относилось «Все!» — к войне или к нашей беседе.

...40-я армия менее всех хотела воевать под занавес войны. Во-первых, была опасность увязнуть в боевых действиях и не успеть выйти из Афганистана к утру 15 февраля. Во-вторых, перспектива новых неизбежных жертв как среди афганцев, так и среди советских солдат оказывала мучительно-депрессивное воздействие на души и умы наших офицеров.

Люди помрачнели, притихли. Еще недавняя радость, которую внушал скорый конец девятилетней войны, сменилась тяжким чувством безысходности и тоски.

На иных салангских заставах в канун последней битвы пели: «Как служил солдат службу ратную. Службу ратную — службу горькую...» На других — «Печален путь мой, горька судьба». А на одной мальчишеский тенорок неумело выводил, навевая ледяную печаль:

Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня, о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой...

Но Кабул давил на Москву, и командованию армии оставалось лишь подчиниться приказу.

На третью неделю января зима начала потихоньку сдавать. С каждым часом солнце наливалось силой, днем слышался стеклянный звон горных ручьев, а снег покрывался ноздреватой корочкой.

По ночам же мороз вновь брал свое: все окрест цепенело, воздух становился колким, обжигал легкие.

Волчьи клыки Саланга по-прежнему скалились на небо. Но теперь это был предсмертный оскал раненого зверя. Даже спустя неделю после боевых действий горы не могли остыть от них. В воздухе стоял крепкий дух только что пролитой крови.

Там, где огонь был наиболее сильным, по обеим сторонам дороги лежали обугленные развалины кишлачных хижин. Почти все население Южного Саланга покинуло родные деревни. Люди ушли в горы или в сторону Чарикара. Лишь от нескольких глинобитных домиков тянулись в небо неуверенные хилые струйки печного горького дыма.

Боевые действия начались 23 января в 6.30 утра вдоль дороги на ее двадцатидвухкилометровом отрезке от Джабаль-Уссараджа до южных подступов к перевалу Саланг. Огонь открыли из всех средств, имевшихся у дивизии на трассе. Захлебывались в кашле 82-миллиметровые автоматические минометы. Ухала артиллерия, стремясь вызвать завалы троп и воспрепятствовать выходу к дороге дополнительных повстанческих отрядов. Работала авиация, нанося бомбо-штурмовые удары на северо-западе от Чарикара; по ущельям Панджшер, Гарбанд, Шутуль, Марги, Арзу и Катломи. В операции были задействованы СУ-24, СУ-17, СУ-25 и МИГи. Тряслась, дыбом вставала земля. Крошились скалы.

Партизаны открыли спорадический ответный огонь из кишлаков, поливая чахлыми пулеметными очередями наши заставы, сторожевые посты и боевую технику на трассе. К десяти утра в Кабул пришли сообщения о первых раненых.

Вскоре после начала боевых действий мирные [1] стали выбрасывать из окон белые флаги. Но из пробоин в соседних стенах по-прежнему били снайперы. И в таких случаях оператор-наводчик БМП не успевал разобрать, кто есть кто, сносил все подряд. Тогда женщины, старики и дети, подняв руки, начали спускаться вниз к дороге. Они несли раненых и трупы, складывали их длинными штабелями вдоль обочины. Смуглые лица убитых еще больше почернели на солнце. Наши солдаты впервые порадовались холодам.

Близ Чаугани мы развернули палаточный городок для афганских раненых и тех, кто лишился крова, с обогревом и раздачей пищи. Но раненые женщины не подпускали наших солдат к себе, предпочитая смерть, отвергая медицинскую помощь «неверных».

Чистые горные ручьи в тот день окрасились в алый цвет. Снег припух, стал ноздреватым и серым от тысяч разрывов и густой пороховой гари.

На востоке в тот день медленно восходил зодиакальный знак Водолея.

Наиболее ожесточенные боевые действия развернулись в восьмистах метрах от 42-й заставы, близ кишлака Калатак. Именно там, по данным разведки, засел отряд Карима — всего человек 120. У повстанцев были автоматы, горная пушка, безоткатное орудие, и ДШК. Из дувала работал снайпер. В ответ наши дали залп артиллерии, положив вокруг его укрытия десять снарядов. Он умолк.

Начальник штаба второго парашютно-десантного батальона майор Юрасов с отрядом солдат окружил кишлак. В нем находилось много мирных. Юрасов знал об этом и потому предложил Кариму сдаться. Но тот начал уходить в горы со своими боевиками, прикрываясь жителями кишлака. Юрасов попытался отсечь мирных от партизан, вызвал резервную группу с КП батальона. В ту самую минуту из кишлака брызнула косая пулеметная струя, задела Юрасова, пробив ему бедро и пах, перерезав бедренную артерию. Пытаясь схватиться руками за воздух, он несколько раз беспомощно взмахнул ими и медленно повалился в снег. Рядовому Шаповалову, бросившемуся Юрасову на подмогу, срезало пулеметной очередью ушанку. Но он продолжал ползти, вдавливаясь телом в снег. Побледнел только. Каримовского пулеметчика забросали гранатами.

Когда подошли, Юрасов лежал, широко раскинув руки,— истекал кровью.

Через пятнадцать минут он скончался.

С каримовцами больше не нянчились — расстреляли в упор.

Тело Юрасова привезли на КП батальона. Врач омыл его, одел в чистую форму, связал холодные, начавшие коченеть руки. Труп завернули в защитный комплект и плед. Накрыв плащ-палаткой, положили на БМП.

...У Юрасова в Костроме остались жена и две дочери. Осенью он хотел поступать в Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Теперь это сделает кто-то другой вместо него.

На следующий день после гибели Юрасова в батальон на его имя пришло письмо из Костромы. Писала жена:

«Здравствуй, дорогой наш папочка!

У нас все по-старому. С нетерпением ждем вашего окончательного вывода.

У нас на улице тепло. Вместо крещенских морозов — оттепель.

В субботу ждем дедушку Ваню.

Буров пролежит в госпитале до конца января, а там видно будет.

Аня сидит рядом и рисует.

У Кати начались трудовые будни: эта ее математичка меня доконает.

В голову никакие мысли не идут.

Что-то опять телевизор стал мудрить. Чувствую, скоро начнется беготня в мастерскую.

Анька ужасно не любит умываться. Каждый день загоняю с боем. Редко, когда сама собирается.

Порошок и мыло теперь будем по талонам получать раз в квартал.

Вот и все.

Насобирала тебе всего понемногу.

До свидания. Целую. Лена. 18.01.89 г.».

Но Юрасов это письмо так никогда и не прочитал.

После того, как закончилась стрельба 23 января, трупы и раненых начали отправлять на юг. Женский вой стоял над дорогой, заглушая рев техники.

— Да, мрачный это был денек, что-то рухнуло внутри меня,— рассказывал мне Валера Семахин, оператор-наводчик БМП № 504.— На всю жизнь запомню. Встал я тогда в 4.30 утра. Начал готовить машину к бою. Проверил вооружение пушки, крутится ли она, поднимается ли. Днем раньше я всю ее разобрал, вычистил, чтобы не заклинило. В 5.30 моя машина была уже в полной боевой готовности. Командир батальона подполковник Ушаков приказал стрелять только в духов, мирных не трогать. Но я духов не видел. Стрелял по тем домам, в которых предполагал, что они есть. Мне дали ориентир и сектор стрельбы. Я стрелял с 6.30 утра до 12.30 дня. Когда все кончилось, первая рота принялась эвакуировать убитых и раненых. Их отправляли на барбухайках[2].

— Мне дали сектор — несколько окон кишлака,— вспоминал приятель Семахина, находившийся в БМП несколькими сотнями метров ниже по дороге.— Мы старались стрелять выше людских голов, чтобы не задевать их. Одно дело, когда ты лупишь просто по стенам кишлака,— это еще куда ни шло. А стрелять в людей... Ух, не готов я к такому, честное слово, не готов... Мирные спускаются и хотят целовать тебя за то, что ты их не прикончил. Странный народ. Должны ненавидеть, а они благодарят. Жизнь здесь ерунду стоит — два мешка гороха и один — риса... Я не мог смотреть им в глаза. Да и вы бы не смогли. Что-то я в себе самом убил тогда. Конечно, всех нас потом представили к наградам. Но от этого не легче.

Январские боевые продолжались с 23-го по 25-е. С раннего утра — до первых сумерек. И так все три дня.

Наши солдаты и офицеры проклинали войну, приказ и себя.

24 января радио и телевидение Афганистана передали Заявление Верховного командования Вооруженных сил страны. В нем, в частности, говорилось: «Ахмад Шах на протяжении последних полутора лет уклонялся от переговоров с правительством. Вооруженные формирования под его командованием продолжали препятствовать безопасному проезду транспортных средств по трассе Хайратон — Кабул на участке перевала Саланг. Вооруженные силы РА [3] вынуждены были провести военную операцию. В результате уничтожено 377 экстремистов, три склада с вооружением, четыре транспортных средства. Оппозиции предлагается не препятствовать прохождению по трассе транспортных средств. В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на нее».

Советское военное командование объяснило события на Южном Саланге следующим образом:

«...23-го числа текущего месяца афганские войска начали выставление постов и застав в районе Таджикана. Но были обстреляны. Таким образом, банды Ахмад Шаха Масуда спровоцировали боевые действия. Они продолжались на всем участке Южного Саланга не только против афганских подразделений и частей, но и против советских войск...»

Советское командование также сообщило, что части и подразделения 40-й армии потеряли с 23 января по 31 января в районе Южного Саланга четыре человека убитыми, одиннадцать ранены.

По слухам, Ахмад Шах Масуд охарактеризовал январские боевые действия на Саланге как одну из наиболее жестоких операций за все годы войны.

Через несколько дней после нее наш кабульский политработник спросил меня, что мне известно о январской операции: кто-то ему сообщил, что я там был. Не дождавшись ответа, он дружелюбно посоветовал: «Если что и знаешь, то ты это уже забыл. Верно?»

Застава подполковника Ушакова осунулась, постарела. Не слышал я солдатского смеха, звонких лейтенантских голосов. Люди делали свое дело молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Казалось, я попал в дом, где накануне кто-то умер, хотя во время последней операции никто на заставе не пострадал.

А тогда, вечером двадцать третьего, комбат повалился на свою койку и, спрятав в подушке лицо, плакал.

— Сейчас-то он малость отошел,— по секрету сообщил мне заместитель командира минометной батареи Слава Адлюков,— но неделю назад к нему опасно подойти было. Впрочем, у всех на душе погано с тех пор. Не у него одного... Вскоре после операции наш комбат поцапался с заместителем командира дивизии Ан--ненко. Так что тут у нас целая стая неприятностей. Проходи, раздевайся...

Ушаков сидел в своей комнатушке. Сутулился у окна. Упершись локтями в колени, сжимал широченными ладонями голову. Вид у него был побитый.

Комбат что-то насвистывал себе в усы.

За окном рябила метель. Знобкий ветер стучался в стекло.

— Яп-понский г-городовой! Закрывай, Славк, дверь — сквозняк...— чертыхнулся Ушаков, не поднимая головы.

Адлюков потянул меня за рукав, и мы пошли в его комнату — рядом, за дощатой стенкой. Поудобней устроившись в стоявшем на полу КамАЗовском кресле, Славка сказал:

— Раз как-то комбат уехал к особистам. Но на дорогу сошла лавина, и он задержался. В тот самый момент к нам пожаловал полковник Ан--ненко. Стал нам рассказывать, кого и как бить во время предстоящей операции.

Славка ослабил ворот, покрутил в пальцах сигаретку. Закурил.

— Во время боевых действий,— Адлюков пустил в потолок струю горького дыма,— Ан--ненко собственноручно перестрелял несколько десятков людей. Хотя в его обязанности входило командовать, а не бить из автомата.

...Впоследствии я неоднократно слышал от многих очевидцев рассказ о действиях полковника Ан--ненко 23 января. О том, как, приехав к десантникам близ 42-й заставы, схватил АК и стал косить с бедра спускавшихся на дорогу людей. О том, как к нему побежал особист и заорал не своим голосом: «Товарищ полковник! Зачем???» — «А Юрасов?! — огрызнулся Ан--ненко, оттолкнув капитана.— Они Юрасова пощадили?! Теперь что ж, я буду их щадить?!»

Я повертел в руке полую гранату. Бросил ее на койку.

— Как будто,— шепотом сказал Адлюков,— Юрасов ему был дороже и ближе, чем капитану Морозову. Как будто эта смерть значила для него больше, чем для всех нас. Тоже мне — ас-демагог... Здесь, на Саланге, Ан--ненко так и прозвали: «Наш Рэмбо». Эдакий Тарзан Иваныч... А номер на своем БТРе всетаки стер: чтобы духи не опознали. Комбата же нашего он возненавидел за то, что Ушаков дал приказ в мирных не стрелять. Только по духам. И действительно в зоне ответственности ушаковского батальона кишлаки целы, мирные не пострадали. Ан--ненко не хотел, чтобы комбат вышел чистеньким из бойни.

По всему Южному Салангу упорно ходили слухи о том, что Ан--ненко приказал кому-то из своих подчиненных снимать то, как он расстреливал, на видеокамеру. Для памяти. Но я тем слухам не верил. Не мог верить.

...В первых числах февраля Ушакова вызвали на ДКП [4]. Когда он приехал, Ан--ненко был уже там.

— Почему вы,— громко спросил Ан--ненко, обратившись к Ушакову не как обычно «товарищ подполковник», а на вы (понимал, что после 23-го между ними ничего товарищеского быть не может),— поче-

[1] Мирные — так наши солдаты и офицеры называли гражданское население Афганистана, мирных жителей.

[2] Барбухайки — автобусы.

[3] РА — Республика Афганистан.

[4] ДКП — дивизионный командный пункт.

му вы не выполнили приказ? Почему в зоне ответственности вашего батальона нет разрушений? Вы мне доложили, что расстреляли по 3—5 боекомплектов, но по местности этого не видно. Я предполагаю, что вы стреляли в горы и в воздух, не били по установленным целям.

— У меня на заставе 23-го находился заместитель командира полка подполковник Ляшенко,— отвечал тогда Ушаков, стараясь сдержать дрожь в голосе,— и он может п-подтвердить, что мы д-действовали как положено. Да, мародерства и лишних разрушений в зоне ответственности моего б-батальона не было. Мы стреляли столько, сколько было необходимо. А кишлаки с лица земли не сметали, потому что в этом мы н-не видели нужды. Мы били лишь туда, где сидели г-главари банд, и по складам. Ответного огня противник не открыл, потому что мы уничтожили главарей и накрыли все склады с боеприпасами. Так что сопротивления не было. А уничтожать лишь для т-того, чтобы уничтожать, ради удовольствия,— вот этого я не допустил. Кроме того, старался, чтобы среди ми-мирных лишних жертв тоже не было. И вы пытаетесь обвинить моих солдат в том, что они стреляли в воздух? Что они не выполнили приказ?!

— Мне надоело разговаривать со слабоумными,— отрезал Ан--ненко.

— А мне,— выпалил Ушаков,— надоело дуракам подчиняться.

Ан--ненко вызвал командира полка подполковника Кузнецова и приказал ему составить акт в связи с тем, что батальон в ходе боевых действий не выполнил поставленную задачу.

Ушаков, вернувшись к себе на заставу, разыскал Ляшенко.

— Слушай, то-товарищ по-подполковник,— комбат от волнения заикался больше обычного,— вы поезжайте на ДКП и объясните им, как действовал 23-го мой б-батальон. А то получается, что мы саботировали приказ и м-мне что — т-т-трибунал теперь?!

Отношения между заместителем командира дивизии и комбатом накалились до предела. Можно было ожидать всего.

Друзья говорили Ушакову: «Не лезь на рожон, комбат. Схлестнулись — и будет. У Ан--ненко связи аж до Москвы. Там у него все схвачено. Чего ты прешь под танк, рванув рубаху на груди?! Если во время вывода в зоне ответственности твоего батальона раздастся хоть один выстрел по нашим колоннам, он ведь тебя и впрямь под трибунал отправит». Ушаков отворачивался, прятал под бровями глаза, упрямо отвечал: «Стрелять духи б-б-будут. Но не на моем участке, а там, где мы положили больше всего мирных, там, где стрелял Ан--ненко. Духи этого нам не простят. Помяните мое слово. Без жертв не обойдемся».

Холодом веяло от этих слов. Конец войны был не за горами. Но никто не знал, каким он будет, этот конец. Люди старались о нем не думать.

Раз как-то поздним вечером собрались офицеры в комнате Ушакова. Пили крепкий грузинский чай, хрустели печеньем и сахаром, курили горький табак. Сизые медузы дыма медленно плавали в спертом воздухе. Потрескивали сырые поленья в печке. В углу шипела рация. Комбат лежал на койке, свернувшись калачиком.

— У Ан--ненко,— сказал он, приподнявшись на локте,— руки по плечи в крови. И просто так это ему не сойдет. Я-я н-не позволю. Его к ордену представили, толкают в академию Генштаба. Если такие будут нами командовать, лучше уж армию распустить. Что за пример они подают молодежи?! Вот Славка Адлюков — парень хороший, дельный лейтенант. А армию решил оставить. Жалко ведь...

— Остынь, комбат, остынь,— прервал его подполковник Ляшенко.

— Не са-сабираюсь,— сказал Ушаков, сокрушая встречный подполковничий взгляд.— Когда во время последних боевых стало известно о таких фактах, я сообщил об этом начальнику оперативной группы Якубовскому, особистам, полковнику Востротину...

— Востротину вы доложили об Ан--ненко? — не понял я.

— Н-нет,— ответил Ушаков.— Востротину я сообщил о действиях десантников — они ведь тоже порезвились во время операции.

— Востротин принял меры? — спросил я.

— Это меня не касается. Я сказал ему об этом как коммунист коммунисту. Пусть он сам разбирается. Мы с ним по службе не связаны... К-кроме того, я счел нужным сообщить наверх не только о том, что тут учинил Ан--ненко, но и о том, что он склонен к стяжательству в сверхкрупных размерах. Даже п-по местным масштабам. Понятное дело, Ан--ненко узнал об этом. Начал цепляться ко мне по разным мелочам. Но мне не привыкать.

Ушаков скупо улыбнулся. Закурил.

За окном по-прежнему мело. Ветер, срывая снег с гор, бросал его в нашу заставу. Пригоршни ледяной муки со звоном ударялись о камни.

— Перед тем как уйти с командира полка на должность замкомдива,— продолжал комбат,— Ан--ненко организовал сбор средств с офицеров и прапорщиков части себе на подарок. Так сказать, любимому командиру от любящих подчиненных. Все это может подтвердить замполит второго батальона капитан Шавлай. Деньги были собраны и переданы в штаб полка. На них купили видеомагнитофон и подарили Ан--ненко. Он этот видик перепродал. Словом, Ш-Шавлай слишком много знал о д-деятельности Ан--ненко. И это ему чуть было не стоило жизни.

— Жизни?? — переспросил я.

— Именно — ж-жизни... За пятнадцать минут до начала операции 23 января полковник Ан--ненко приказал капитану Шавлаю проехать по трассе на одном чахлом БТРе — а у нас в целях безопасности принято ездить как минимум на двух машинах — и проверить о-обстановку. Шавлай спросил: «Как же я поеду на одном?!» — «Ты замполит,— ответил Ан--ненко,— ты должен ехать и поговорить с людьми»... Когда Шавлай вернулся, чудом оставшись в живых, Ан--ненко, как говорят, был очень н-недоволен.

— Да,— заметил один из офицеров,— выжив, Шавлай здорово досадил полковнику.

— У него,— сказал другой,— была привычка: увидит на дороге солдата, остановит его, прикажет: «А ну, покажи что в карманах!» Если там обнаруживалось больше пятидесяти чеков, Ан--ненко забирал их себе, и получить деньги обратно было невозможно. В целях страховки он запасся неплохим оправданием: мол, у солдата не может быть больше пятидесяти чеков. А если есть, значит, наворовал... Не подкопаешься.

За дверью послышались шумные, уверенные шаги. Она с треском распахнулась.

На пороге стоял полковник Ан--ненко. Резким движением руки он смахнул иней с усов.

Из-за его плеча показалось смуглое лицо начальника штаба дивизии полковника Д. Раздался грудной женский смех.

— Мальчики,— игриво сказала женщина, просунув голову в дверь,— вот и мы. Не ждали?

Она тоже была одета в военную форму. Из-под ее вязаной шерстяной шапочки выбивались пряди светлых волос.

В комнате непривычно запахло духами.

Все поднялись с коек. В воздухе застыло неловкое молчание. Комбат стоял, переминаясь с ноги на ногу. Он был без ботинок. В одних шерстяных носках грубой вязки.

Ан--ненко прошел к столу, снял трубку. Зажав ее плечом и щекой, посмотрел на часы. Секунд десять ждал связи.

— Алло! «Перевал»? «Перевал», дай «Курьера»! — закричал он.— Как там на 42-й? Хорошо, доложите через десять минут...

Расстегнув ворот бушлата, Ан--ненко устало опустился на ушаковскую койку.

— Организуй чай,— обратился он к Ушакову, дырявя глазами дощатый пол,— и закуску. Да побыстрей.

Женщина и Д. сели рядом с ним.

— Тепло у вас! — улыбнулся Д. и потер руки.

— Комбатушка! — подмигнула Ушакову женщина.— Что же ты тянешь с чаем? Видишь — намерзлись мы. С дороги. Устали.

Ушаков надел ботинки и вышел из комнаты. Я услышал его сиплый голос из-за стенки: он что-то говорил командиру минометной батареи старшему лейтенанту Климову. Через несколько минут комбат вернулся.

— Сейчас будет вам чай,— сказал он, пряча глаза.

— Вот и умничка! — засмеялась женщина.

Кроме нее, Ан--ненко, Д. и комбата, в комнате остались заместитель командира полка Ляшенко и я. Все остальные вышли в ту минуту, когда Ан--ненко связывался с «Курьером».

Опять затрещал телефон. Ан--ненко, сняв трубку, молча выслушал доклад.

Ушаков сел на мою койку. Достав из тумбочки 12-й номер журнала «Юность» за 88-й год, принялся читать. Я вытащил пачку сигарет. Закурил.

В комнату вошел старший лейтенант Климов с полотенцем, чайником и шестью металлическими кружками в руках. Он поставил их на приземистый столик между двумя койками, наполнил каждую до краев крепчайшим чаем. Вытерев капли с поверхности стола, Климов вышел. Потом опять вернулся — принес миску душистого жирного плова из тушенки и остатков риса.

Я старался не смотреть Климову в глаза: было неловко от того, что старший лейтенант превратился в официанта. Да и сам Климов смотрел на пол.

— Комбатушка! — позвала женщина.— А, комбатушка-а...

— Что вам? — спросил Ушаков, не отрывая глаз от журнала.

— Комбатушка, что ты там читаешь? — Она ловко вскинула ногу на ногу.

— Вам непременно надобно знать?

— Какой, однако, хмурый, неприветливый сегодня комбат,— сказала она с легкой обидой, разглядывая тлевший кончик сигареты.

— А и правда,— спросил дружелюбно Д.,— чего это там интересного в твоем журнале, что ты все глядишь в него да глядишь, аж не оторвешься? Тут, понимаешь, женщина красивая сидит, а ты ноль внимания. Нехорошо-о!

— Я читаю,— сказал Ушаков, стараясь говорить как можно спокойнее,— отрывок из книги Антона Антонова-Овсеенко «Берия».

— И что же,— спросила женщина, затушив окурок с окровавленным фильтром в пустой консервной банке,— пишет этот ваш Фсеенко?

— Про сталинскую мафию,— ответил Ушаков.— Могу зачитать.

— Читай — и то веселей будет,— сказал Д. и недоверчиво улыбнулся, поглядев на Ан--ненко.

Упершись спиной в стену, а взглядом в комбата, Ан--ненко закинул руки за голову. Он курил, перебрасывая сигаретку из одного уголка рта в другой.

— «...Всякий клан,— начал читать Ушаков,— п-предполагает наличие родственных связей. Их не было ни в лагере Берия — Маленкова, ни в г-группе Жданова. Каждый клан действовал на здоровой основе бандитского братства, когда сообщников объединяют единая цель и общая опасность гибели от руки конкурента...» Ч-читать дальше или не хотите?

— Не надо,— властно махнул рукой Ан--ненко.— Распустили прессу — пишут, что хотят. Всю нашу историю дерьмом облили. Ничего святого не осталось. Мерзость сплошная.— Он враждебно посмотрел в нашу с комбатом сторону.

— И правильно сделали,— сказал Ушаков, отрывая глаза от страницы и парируя мутный взгляд полковника,— что сняли засов со рта прессы. Иначе мафия будет процветать.

— А что,— вмешался Д.,— сейчас, когда про мафию стали писать в каждой газетенке, ее разве поубавилось? Меньше ее сейчас, чем во времена безгласия?!

— Нет,— процедил комбат,— не меньше. И з-знаете почему?

— Почему? — переспросил Д.

— Потому что,— ответил Ушаков,— мафия проникла всюду. Она сидит даже в этой к-комнате.

Где-то за горой несколько раз кашлянула безоткатка. Д. нервным движением руки схватил со стола кубик сахара. Бросив его в рот, несколько раз звучно хрустнул.

— Это какая же мафия? — спросил он.— Поясника!

— А т-такая! — огрызнулся комбат, вскакивая с койки.

И тут он сбивчиво, заикаясь, рассказал про афганские КамАЗы, которые ходили в Панджшер в сопровождении БТР № 209 и БМП без номера, место постоянной дислокации которых — КП подполковника А.

— В Панджшер, к Ахмад Шаху,— хрипло выкрикивал комбат,— ма-машины шли доверху загруженные, обратно же возвращались п-порожняком. А один КамАЗ А. пустил на б-бакшиш [5] старшему начальнику...

— Товарищ подполковник,— Д. оборвал Ушакова, бешено вращая глазами,— вы только что всем нам нанесли оскорбление! Ваши обвинения бездоказательны! А потому, товарищ подполковник, немедленно выдь отсюда! Немедленно! Ты меня понял?!

— П-п-понял...— Ушаков махнул рукой, схватил «Юность» и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

В комнате вновь установилась густая тишина. Подполковник Ляшенко курил сигарету за сигаретой. Д. зачем-то развязал шнурок на ботинке, а потом опять завязал. Ан--ненко потянулся, хрустнув лопатками.

— Знаете,— сказала мне, нарушив молчание, женщина,— а наш комбатушка контуженный. И в психушке не раз сидел. Нервы у него сдали. Но мы ведь об этом никому не расскажем, правда ведь?

Она нежно улыбнулась, чуть опустив ресницы на глаза.

— Одно слово — псих! — мрачно, почти про себя сказал Ан--ненко.— Подполковника А. обвиняет в грабежах, меня — в расстреле мирных... Псих. Ладно, хватит о нем — много ему чести... Я вот только что из Термеза вернулся. Заодно с братом повидался.

Д. стучал пальцами по табурету.

Ан--ненко нагнулся и достал из сумки батон колбасы, виски, несколько бутылок пива и копченую рыбу.

— В термезских озерах,— он едва улыбнулся уголком рта,— чудесные лещи. Вот пересечем границу, приглашу вас на рыбалку.

— Благодарю,— сказал я.

---

[5] Бакшиш — взятка (одно из значений).

— Понимаете,— Ан--ненко принялся разрезать рыбину на несколько равных кусков,— такие психи, как этот комбат, пытаются теперь из меня сделать козла отпущения, эдакого советского лейтенанта Колли. А какой Колли преступник?! На войне либо ты убиваешь, либо — тебя. Другого не дано...

Ан--ненко разлил пиво. Сдул со своей кружки пену. Д. посмотрел сквозь рыбью чешуйку на электрическую лампочку.

— Красота! — улыбнулся он.

— Вот Ушаков,— продолжал после недолгой паузы Ан--ненко,— во время последней операции не бил по кишлакам. А это преступление. Потому что на его участке духи смогут в любой момент без риска для себя открыть огонь по нашим колоннам.

Он осушил кружку до дна. Стряхнул желтые капельки с усов.

Алые женские ногти хищно впивались в жирное рыбье мясо.

— А что мне было делать,— спросил сам себя Ан--ненко,— когда все они из кишлака начали спускаться вниз к нашей заставе. Откуда я знал, кто там прячется под чадрой? Ведь то могли быть переодевшиеся духи. Они подошли бы вплотную к заставе и всех наших перестреляли, выбили всех до единого. Солдатики и пискнуть бы не успели. Так что я вынужден был открыть огонь. Правда, сначала я все-таки дал очередь поверх голов. Но они продолжали спускаться. У меня не оставалось выбора... Между прочим, приказ был — стрелять. И я выполнял приказ. А комбат Ушаков нет! Если духи укроются в зоне ответственности его батальона и начнут лупить по нашему арьергарду, виноват будет Ушаков и никто больше! Он совершил преступление: тут не может быть никаких сомнений.

Я внимательно посмотрел в глаза Ан--ненко. Он был надежно прикрыт непроницаемой броней благих намерений.

— Вот скажите, — Ан--ненко встретил мой взгляд, чуть прищурив глаза,— что важнее для советского командира: уничтожить духов и вместе с ними немного мирных, но при этом спасти своих солдат? Или же проявить пассивность и допустить уничтожение нашей, советской заставы? Думаю, любой офицер в здравом уме изберет первый вариант. А потом, разве они пощадили Юрасова?! За него надо было отомстить. Ладно... Святых больше нет и, по всей видимости, уже не будет. Выпьем за все хорошее.

Бывает лак, на котором не остается царапин, хоть гвоздем скреби. Похоже, Ан--ненко был покрыт таким лаком.

— Ой, мальчишки! — вдруг воскликнула женщина и легкая печаль тронула ее улыбку.— А что же вы будете делать, когда кончится война? Что вы будете делать, когда вернетесь? Что вы, мои любимые, будете делать без войны? Без Афганистана? Бедные вы мои, бедные...

— Выпьем за академию Генштаба! — предложил Д. и, обняв Ан--ненко, поцеловал его в губы.

Женщина протянула руку и включила радиоприемник на столе. Раздался далекий голос Софии Ротару. Мечтательно прислушиваясь, Ан--ненко сказал:

— У Софии началась вторая молодость. Она налилась соком зрелости.

— В самый бы раз, а? — подмигнул мне Д. и сделал движение руками, повторяя изгиб женских бедер.

— А вот Гурченко,— чуть подумав, с печалью в голосе проговорил Ан--ненко,— начала сдавать.

— Ой, мальчишки! — всплеснула руками женщина, явно недовольная тем новым направлением, в каком шел разговор.— Неужели в Термезе опять будет холодно?

— Не бойся,— успокоил ее Д.,— нам с тобой будет тепло.

— И даже жарко,— уточнил Ан--ненко.

— Давайте выпьем за любимых женщин! — почти выкрикнул Д. Глаза его сверкали.— Пьем стоя!

Он зажал стаканчик между левой щекой и ребром правой ладони, отставив локоть. Сделал резкое движение, и стаканчик, несколько раз повернувшись вокруг своей оси, оказался у самого рта. Д. резко запрокинул голову и осушил его, чуть притопнув ногой.

Постучавшись в дверь, вошел командир минометной батареи. Собрав со стола грязную посуду, он молча исчез. Проводив его тяжелым взглядом, Ан--ненко сказал:

— Вот мое семейство.— И протянул мне цветную фотографию своих жены и детей.

То была на редкость красивая семья. Я хотел сказать об этом ему. Но вдруг вспомнил двадцать третье января и промолчал.

— Я недавно ГАЗ-24 купил,— зачем-то добавил Ан--ненко.

Д. опять крепко обнял его и поцеловал. Потом вдруг, отпрянув, спросил меня:

— Хотите, мы подарим вам видеомагнитофон?

— Благодарю,— ответил я,— надеюсь, что смогу сам когда-нибудь заработать на эту штуковину.

— Бедный, но гордый! — засмеялся Ан--ненко.

— А оружие вы везете домой? — не унимался Д.

— Я бы и рад, да ведь в Хайратоне таможня всех нас перетрясет, ответил я.

— Бедный, гордый, да еще и наивный! — Д. от души рассмеялся.

— Полковник Д. шутить изволит, — сказал Ан--ненко, сдвинув брови.— Вы совершенно правы: в Хайратоне таможня, и лучше не рисковать. Ну, а теперь есть смысл соснуть минуток триста, а?

Через два дня батальон подняли на рассвете. БМП выстроились друг за другом вдоль дороги. В воздухе таяли остатки тьмы.

Ушаков вышел на трассу и окинул тусклым взглядом батальон. Не хватало одиннадцати машин — почти роты. Шесть ушли с командиром полка раньше. Остальные он передал «зеленым».

На антенне второй БМП из роты Мокасия отчаянно бился на ветру красный флажок. Точно крыло подранка.

— Убери флаг, солдат! — зло крикнул Ушаков.— Это не парад. Лучше сними хлам с брони: если что, пушку не развернешь.

Солдат хотел ответить, но ротный сказал, чтобы он заткнул свой огнемет.

— Я считаю...,— вступился было за солдата стоявший рядом замполит из другого батальона, но его резко оборвал Ушаков.

— Вы,— тихо, но четко сказал комбат,— считайте д-до ста. А я буду поступать так, к-как считаю нужным.

— Вместо флага,— поддержал Ушакова ротный,— мы привяжем к БМП голову замполита с бантиками в волосах. Журналисты в Термезе умрут со смеху...

Минометная батарея Климова застряла на выезде с заставы из-за сломавшегося БТРа. Второй час подряд в его двигателе копался Славка Адлюков, но все безуспешно.

Ушаков кругами ходил вокруг испорченной машины. Матерясь, приговаривал:

— Щенки! Не слушаете матерого к-комбата. Г-говорил же вам, чтобы проверили машины накануне...

Батальон хрустнул всеми своими металлическими суставами и медленно попер в гору.

Отчаянно ревели двигатели, скрежетали гусеницы, выбрасывая назад грязные ошлепки пропахшего гарью снега.

Вскоре колонна скрылась за горой.

Двумя километрами ниже карабкался на Саланг, к перевалу, второй батальон парашютно-десантного полка.

В третьем его взводе шла 427-я БМП. Гроздь прижавшихся друг к другу солдат облепила башню. Сзади сидели Андрей Ланшенков, Сергей Протапенко и Игорь Ляхович. Все в бронежилетах.

Вечером, в начале восьмого, батальон остановился у 43-й заставы, рядом с кишлаком Калатак. Как раз там, где погиб майор Юрасов и где так жестоко отомстил за него полковник Ан--ненко.

Черная ночь расползлась по небу, словно чернила по промокашке.

Комбат приказал выключить все габаритные огни на машинах.

— Еще сутки,— сказал Ляхович,— и будем на границе. Не верится...

Раньше Ляхович служил в саперной роте и кличка у него была Сапер. Потом его перевели в разведвзвод старшего лейтенанта Овчинникова.

Но кличка осталась.

На 40-ю заставу Сапер попал в декабре прошлого года. Обеспечивал выставление блоков — искал мины.

За весь последний год во взводе не было «021»-х [6].

— Если на перевале армию не заклинит,— ответил Саперу Ланшенков,— то будем.

— Дай-то Бог,— отозвался Протапенко.

Мороз наглел с каждой минутой. Водитель завел двигатель, и солдат обдало горячей гарью.

Через пару секунд взревел весь батальон. Но с места не тронулся.

«Урал» зампотеха не заводился. Пришлось открыть капот и проверить стартер.

— Нужен ключ на 17. Торцовый,— сказал зампотех.

Майор Дубовский подошел к 427-й БМП, взял ключ, но четырехгранника у водителя не было.

— Он есть на 563-й,— сказал ротный.— Пошли туда.

Рядом с «Уралом» остановился газик. Из окошка высунулась голова комендача.

— Эй ты,— крикнул он водителю через мегафон,— сын нерусского народа, в чем дело?! Быстрей заводи и двигай без переключения передач!

Водитель не отреагировал. Продолжал рыться в двигателе. Должно быть, не понял. Газик уехал.

На стоявшем рядом БТРе время от времени с шипением срабатывал компрессор, добавляя воздух в шины.

Ротный и майор вернулись, дали водителю четырехгранник. Сами полезли в кабину греться.

На 427-й зажглись восемь огоньков. Солдаты курили, отогревая теплым дымом сигарет посиневшие губы и пальцы.

— Хорошо...— сказал Сапер Ланшенкову, глубоко затянувшись.

Хотел добавить что-то еще, но струя пулеметного огня секанула поперек дороги. Трассеры красным пунктиром прошили тьму.

Стреляли с заставы, только что переданной «зеленым».

БМП впереди дала предупредительную очередь по небу. Остальные молчали. Комбат, видно, решил не ввязываться в перестрелку.

Ланшенков услышал, как Сапер прохрипел ему что-то на ухо и несколько раз судорожно всосал ртом воздух.

— Что? — переспросил Ланшенков.— Что??

Сапер сидел в прежнем положении, лишь голову запрокинул назад — глядел в небо.

— Сапер! Ты как?! — крикнул Ланшенков.

Тот молчал.

К 427-му подбежал ротный. Тряхнув Сапера за плечи, заорал водителю:

— Включайте фары! Куда его зацепило?

Сапера аккуратно спустили с брони, положили на дорогу в желтый круг электрического света. Красная змейка крови заскользила по льду к обочине.

— Шея...— сказал, вставая с колен, ротный.— Навылет. Пуля вышла из затылка... Черт!

Прапорщик присел на корточки и потрогал левое запястье Сапера.

— Пульс пока прощупывается,— сказал он.

Два солдата отрезали рукав бушлата. Санинструктор вколол в начавшую остывать серую руку промедол. Перетянул ее резиновым жгутом. Подождав, пока набухнет вена, поставил капельницу.

— Потекло...— сказал Ланшенков.

Связавшись с комбатом, ротный закричал в ларинг шлемофона:

— У меня «трехсотый» или «ноль двадцать первый»... Как понял?

— Вези его на 46-ю! — ответил комбат.

Там был медпункт.

Сапера положили на БМП. Водитель включил зажигание. Машина дернулась, пошла в гору.

— Ставь вторую капельницу! — крикнул ротный.

Санинструктор поставил, но жидкость не пошла. Замерзла.

— Б...! — выругался ротный.

Потом взял чей-то бушлат, накрыл им Сапера.

Тот лежал на ребристом листе акульей морды БМП, смотрел наверх.

В небе болталась шлюпка месяца.

— Б...!— опять выругался ротный. Гримаса исказила его лицо.

Приехали на 46-ю. Положили Сапера на плащ-палатку и понесли в кунг — к врачу. Тот минут пять возился, слушал пульс, осматривал рану.

Наконец, открыл дверь, вышел на улицу. Сказал:

— Все... Пуля перебила шейные позвонки... Перелом основания черепа... Кровоизлияние в мозг... Все.

Сапера вынесли на свежий воздух и опять положили на броню.

Он был похож на гранату, из которой вытащили запал.

В небе висели осветительные бомбы, и лицо Сапера было хорошо видно.

Кожа его стала похожа на лист вощеной бумаги. Из носа и ушей все еще шла кровь. В глазах отражалось небо — то небо, каким оно было двадцать минут назад.

— Закройте ему глаза и накройте лицо,— сказал кто-то.

Сапера завернули в одеяло, подложив под него носилки.

Через пять минут одеяло припорошил снег.

Вокруг БМП с телом Сапера кольцом стояли солдаты. Курили.

В глазах одного застыл вопрос: «Сапер, почему — тебя?»

В глазах другого: «Прощай».

В глазах третьего: «Лучше — тебя, чем меня».

В глазах четвертого: «Если не повезет, скоро встретимся».

В глазах пятого: «Б...!»

В глазах ротного — слезы.

Никто из них не хотел стать ПОСЛЕДНИМ СОВЕТСКИМ СОЛДАТОМ, УБИТЫМ В АФГАНИСТАНЕ.

Сапер взял это на себя и тем самым спас несколько десятков тысяч людей, которые в тот момент все еще оставались на земле Афганистана.

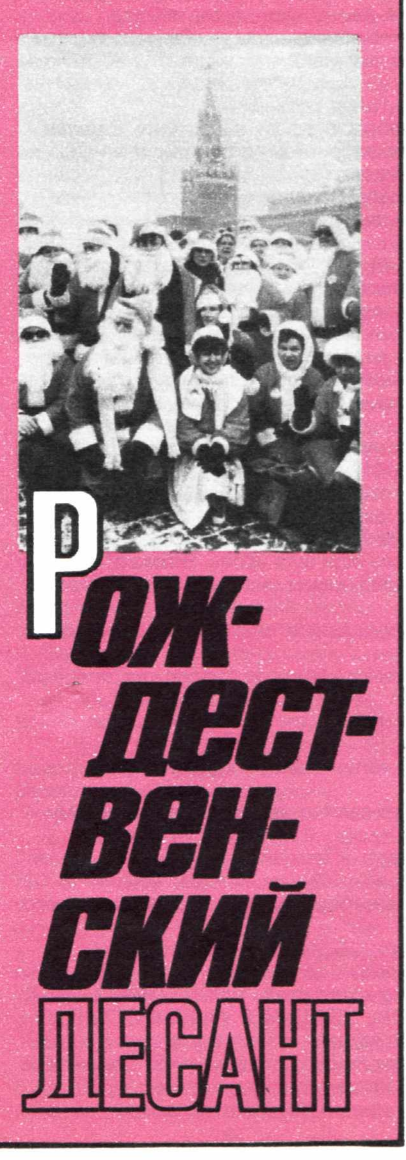
А заодно поставил точку на этой войне.

[6] «021» — условное обозначение для убитых.

У кого что в этом морозном декабре. Кому митинги на свежем воздухе, кому забастовки, кому переговоры, кому прочие политические волнения. Но все мы — люди на нашей далеко не безгрешной, но все-таки прекрасной Земле. А у людей Земли бывает светлый праздник — Новый год.

Рождество, сочельник, елки в огнях иллюминации зовут к передышке. Надо же остановиться, осмыслить уходящий год, налить по бокалу и оставить хоть на минуту многосложные проблемы мира... Так, наверное, и поступили эти добрые американцы, которые улыбаются нам с фотоснимка Анатолия Бочинина. Не дождавшись, пока сильные мира сего окончательно преодолеют разногласия, американцы вырядились в костюмы Санта-Клаусов (то есть Дедов Морозов по-нашему), сели в самолет и приземлились в Шереметьеве.

У кого что, но у всех нас тем не менее канун Нового года — так решили американские Санта-Клаусы. И без всяких громких слов затеяли игры с детишками в Советском районе Москвы, у кинотеатров «Ангара», «Ашхабад», «Бирюсинка». Кроме улыбок и подарков, Санта-Клаусы (их прилетело 200 человек) привезли нашим юным пионерам и октябрятам поздравительные открытки, письма от их сверстников из США. То-то было веселье! Happy new year! С Новым годом! Спасибо за прекрасную идею! Думается, что наши русские Деды Морозы тоже не останутся в долгу.



Рождественский десант

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ?

Майра САЛЫКОВА

Существует ряд общепринятых показателей цивилизованности общества. Свобода передвижений внутри страны и за ее пределами — один из таких показателей. Не случайно основным атрибутом советской административно-командной системы стал особый паспортный режим в стране и полное отрицание прав граждан на свободное перемещение по миру. Не случайно и то, что одним из первых веяний перестройки стало ослабление режима въезда в нашу страну и выезда из нее.

Из данных пресс-центра МВД: «...Отмена ранее существовавших ограничений на периодичность зарубежных поездок, возможность выезда на временное пребывание по приглашению любого лица, упрощение процедуры оформления ходатайств значительно увеличили число выезжающих граждан, обращающихся в органы внутренних дел с просьбами о выезде за границу и въезде в СССР. Только в первом полугодии 1989 года рассмотрено 1,7 миллиона таких обращений. Это в 3 раза больше, чем за весь 1987 год. Практически удовлетворяются почти все ходатайства, и отрицательные решения от общего числа рассмотренных обращений составляют лишь 0,15 процента».

Такое стремительное увеличение количества выезжающих за рубеж по разным поводам — настоящий взрыв, который не мог не поколебать системы ведомств, участвующих в обслуживании этой категории граждан. Несовершенная машина, рассчитанная на минимальное, строго контролируемое число граждан, стала давать сбои.

Перестройка этой системы велась на ходу: ОВИР упрощал анкеты и оформление, Аэрофлот и железная дорога увеличивали число рейсов и маршрутов, пересматривались нормы обмена денег. Но поток людей продолжает расти прямо пропорционально росту напряжения на всех участках обслуживания.

И это только начало. Ослабление порядка въезда и выезда только приоткрыло окно в мир. А впереди утверждение Верховным Советом законопроекта «О въезде в СССР и выезде из СССР», все пункты которого будут строго соответствовать международным обязательствам Советского Союза.

Но что уже сейчас приходится испытывать человеку, выезжающему за рубеж на постоянное место жительства, по приглашению, в служебную командировку?

Если раньше, в застойные времена, главным считалось оформление документов и разрешение на выезд, то сегодня ситуация резко изменилась. Одно из самых в прошлом консервативных звеньев цепочки — ОВИР — сейчас, похоже, перестроился быстрее всех. Но увеличение числа выезжающих и въезжающих после утверждения законопроекта потребует от ОВИРа дальнейшего упрощения оформления. Во всяком случае, в УВИРе МИД СССР меня заверили в том, что службы министерства готовы к изменениям порядка въезда и выезда. Правда, встретиться и ответить на конкретные вопросы вежливо отказались.

А теперь обратимся к тем службам, которые оптимизма в связи с будущими изменениями не испытывают.

В Министерство финансов СССР я пришла с ворохом вопросов. Кто и как устанавливает нормы обмена валюты в разные страны? Существуют ли определенные лимиты на обмен валюты? Что нас ожидает в недалеком будущем? Ведь то, что с валютой у нас, как с детскими колготками, ни для кого не секрет.

Выяснилось следующее. Социалистические страны устанавливают на эти цели годовые лимиты. В пределах этих лимитов отправляют в наш банк свою национальную валюту. Нормы обмена рублей на валюту соцстран устанавливает Совет Министров СССР, исходя из соответствующих рекомендаций Минфина.

Рассказали очень интересную историю. В этом году наплыв в Венгрию был так велик, что за первый квартал был исчерпан чуть ли не весь годовой лимит на обмен. Деньги перестали обменивать, потому что их просто не было. Есть все: путевки, разрешение на выезд, билеты — формально можно ехать. Но с пустыми карманами?

Юрий Николаевич Лобов, начальник договорно-правового подотдела Минфина СССР: «На сегодняшний день нормы обмена во все страны уменьшились. Почему? Раньше в соцстраны, например, обменивались деньги из расчета 15 рублей в день на срок до 90 дней. Оплачивали то количество дней, на которое человек выезжал. Но с прошлого года УВИР, мотивируя соблюдением Хельсинкского соглашения, перестал ставить отметку о сроке пребывания за рубежом. И обмен в большинстве случаев стал осуществляться так: человек едет на 4 дня, а меняет деньги на полный срок. Тогда и началось! Банк схватился за голову. Пошли телеграммы из ГДР, Чехословакии о том, что советские туристы скупают все на внутренних рынках страны. Потом в Чехословакии в ультимативной форме в одностороннем порядке, ничего нам не сообщив, ввели в декабре месяце новые таможенные правила, ввели новые проценты пошлин почти на все виды товаров, затем это же сделали в других соцстранах. Поэтому пришлось установить новые нормы обмена на человека в год: в соцстраны — 500 рублей (в некоторые меньше), в капстраны — 200 рублей».

То, что свободно конвертируемую валюту у нас для всех желающих не продают, никого не удивляет. Непонятно только, почему те немногие места для продажи валюты для выезжающих, как правило, тесны и неудобны? Рядом с пунктами обмена постоянно с раннего утра толпится уставший, небритый, измученный народ. Люди отмечаются, у каждого свой номер. Особенно подобные картины впечатляют летом. В толпе снуют дети, много приезжих. А свободных мест в гостиницах как не было, так и нет. Свободной продажи валюты тоже.

Спрашиваю у зам. начальника объединения «Союзвалютрасчет» Владимира Семеновича Хавроского:

— Глядя на эти очереди и мытарства людей, создается впечатление, что валюту продают только в Москве?

— Продажа валюты советским гражданам осуществляется Внешэкономбанком и его 20 отделениями. Приблизительно 130 специализированных банков продают валюту. Внешэкономбанк продает валюту гражданам, выезжающим в капстраны. И не только в Москве — в Киеве, Минске, Кишиневе.

— Можно ли расширить сеть таких городов?

— Не только можно, это необходимо делать как можно скорее! Ведь раньше это-то было. Раньше валюту можно было купить, как в учреждениях Внешэкономбанка, так и в 420 учреждениях Государственного банка. Но в результате недавней реорганизации банковской системы во многих городах Советского Союза продажа валюты была прекращена. Если до реорганизации валюту соцстран продавали от общего объема 55 процентов, то сейчас все вместе взятые специализированные банки только 20 процентов. Все остальные люди едут в Москву. Считаю, что банковская реформа не удалась. Специализированным банкам невыгодно продавать валюту населению. Это довольно хлопотная услуга. С таким товаром надо уметь работать. Как-то ряд сбербанков набил свои хранилища валютой. И произошло обесценение польского злотого на 30 процентов. В результате банки понесли убытки.

— Но готовы ли наши банки к работе с валютой на уровне, которого требует от них время? Мобильно, гибко, прогнозируя падение или повышение курса той или иной валютной единицы в зависимости от многочисленных факторов, влияющих на этот процесс?

— Уверен, система государственных банков — рутинная система. И я убежден, что больше всего и быстрее всего будут реагировать на это коммерческие банки. Они подвижны, энергичны, у них другая система организации труда. Их обязательно надо привлекать к продаже валюты советским гражданам, выезжающим за рубеж. Должен сказать, что ни в одной стране мира нет, как у нас, 7 государственных банков! Есть один государственный банк, а остальные банки — коммерческие, которые работают на свой страх и риск.

— То небольшое послабление в режиме выезда и въезда значительно увеличило количество лиц, которых должны обслуживать банки. Надо полагать, количество ваших клиентов возрастет еще больше. Готовы ли ваши службы к этому?

— Мы уже сейчас работаем в ненормальном

режиме. Посмотрите, что творится на Калининском проспекте, здесь, на Смоленском бульваре! Мы стараемся детально изучать динамику роста. Цифры, которые у нас есть и которые сейчас подсчитываются, нас просто ужасают. В будущее смотрим без всякого оптимизма. У нас нет необходимой материально-технической базы для организации нормального валютно-банковского обслуживания советских граждан. Самое лучшее место обмена валюты здесь — на Смоленском бульваре. Сделан этот пункт из полуразрушенного здания. А это деревянное строение, где мы с вами сейчас сидим? А ведь наш банк — банк-миллиардер! Но если управление банка работает в таких унизительных условиях, разве можем мы достойно обслужить наших клиентов? Проблема нормального функционирования банковской системы в стране — это прежде всего проблема властей. Но их, судя по всему, это не особенно заботит.

— Как вы сами относитесь к ослаблению режима въезда и выезда?

— Все эти контакты — прекрасное дело. Но должен вам сказать, что запреты и ограничения на вывоз из страны свободно конвертируемой валюты есть почти во всех странах мира. В том числе и в развитых. Есть две страны, где нет таких норм,— это США и ФРГ. Теперь давайте посмотрим на соцстраны. Уже сейчас многие из них не желают видеть и принимать советских граждан в таком количестве. Это Венгрия, Чехословакия, Югославия. Это им невыгодно. Мы имеем экономические отношения на двухсторонней основе. И когда в страну въезжает гораздо больше людей, чем из нее выезжает, это становится экономически невыгодным.

В то время, когда я расшифровывала эту беседу, по радио объявили о новом обменном курсе доллара на внутреннем рынке. 1 доллар сегодня стоит 6 рублей 20 копеек. В те оставшиеся несколько дней, когда доллары еще можно было купить по старому курсу, сотни людей буквально штурмовали пункты обмена. Чего только там не говорили! Каких только проклятий отчаянных людей не слышали снующие по Ленинградскому проспекту прохожие! Сработал еще один рычаг по сдерживанию утечки валюты и выкачиванию рублей у населения. А я-то, наивная, все выспрашивала: не будут ли пересмотрены и без того скудные нормы обмена? Нет, твердо говорили мне, в ближайшее время не предвидится. В самом деле, нормы остались те же. Но вот только обменный курс слегка повысился в десять раз. И только... За те же 312 долларов, за которые раньше платили 200 рублей, сейчас придется отдать 2000 рублей. Эта норма обмена в год.

И в самом деле, почему призыв летать самолетами Аэрофлота сейчас почти не слышен, а призыв ездить на поездах МПС СССР и вовсе отсутствует? Что бы это значило?

Как мне сообщили в МПС СССР, прирост количества пассажиров международных сообщений за последние три года побил все рекорды. В 1987 году прирост составил 20 процентов. В 1988-м еще плюс 35 процентов, 1989 год — к тому еще плюс 45 процентов. И это не по какому-то одному направлению: в целом от Китая до Парижа.

Знаете, какая одна из основных сложностей в движении поездов в другие страны? Колея! На Западе она уже, чем у нас, а в Китае, к примеру, шире. Уже сегодня исчерпаны все мощности по перестановке колес, а количество пассажиров продолжает расти. Необходимо еще более увеличивать и частоту движения поездов, и количество маршрутов. Они и увеличивались все эти последние три года. Но пропускная способность имеет пределы.

Есть еще одна проблема — это вагоны. Их тоже не хватает. А брать неоткуда. Почему? Потому что у нас в стране нет завода, который бы выпускал купейные вагоны.

И самый больной вопрос — валюта.

Борис Иванович Торба, начальник управления пассажирских сообщений:

— С валютой положение катастрофическое. Нас практически заставили покупать собственные рубли за валюту! Я имею в виду продажу билетов. Ведь наш гражданин может купить билет туда и обратно за рубли. А расчеты между железными дорогами стран производятся пропорционально расстояниям. По нашей, например, территории поезд идет тысячу километров — мы за это получаем рубли. Но за остальной путь нам тоже заплачено в рублях, а расплачиваемся с другой стороной в валюте! А ведь мы должны быть прибыльными.

— Но разве раньше люди не покупали билеты туда и обратно в рублях?

— Покупали. Но соотношение въезжающих к нам и выезжающих от нас было примерно одинаковым. Иностранцев и наших. Сохранялся баланс. За шесть месяцев этого года мы отдали за кордон 1 миллион 865 тысяч долларов, получили валюты от продажи билетов 370 тысяч долларов. Почти в 5 раз меньше.

— Какой вы видите выход? И в исчерпывании пропускной способности перестановок колес, и в отсутствии поставки вагонов, и в валютных делах?

— Резерв видим в использовании пересадочного сообщения. Чтобы не тратить время на перестановку колес. Мы подвозим к границе вагон с пассажирами, а со стороны Чехословакии подгоняется другой поезд. Нужно только перейти из одного поезда в другой. С тем же билетом, на то же место. Но, к сожалению, люди видят в этом какой-то подвох. Еще резерв — это зима. Надо как-то перераспределить поток более-менее равномерно. Зимой у нас на 40 процентов движение меньше. С валютой скажу так. Мы наживаться ни на ком не хотим. Но если в проданном вам билете, допустим, в Мюнхен, доля стоимости 15 процентов в твердой валюте, которую мы должны отдать той стороне, то купите ваш билет, пожалуйста, исходя из этого соотношения. 85 процентов в рублях оплатить, 15 процентов в валюте. Чтобы мы не имели убытков. Есть еще один резерв. Я много бывал за рубежом. И наши партнеры говорят нам: «Мы чаще бы ездили к вам. Но уберите дискриминационные правила на таможне! Хотя бы на туристские поезда. Перестаньте над нами издеваться! Ведь нигде в мире нет такого мучительного контроля. Час-полтора ходят, трясут». А ведь увеличение потока пассажиров с Запада — это дополнительный источник валюты. Вагоны будем закупать у других стран. Мы уже обращались к правительству с этой просьбой.

Транспорт, любой, развивается и функционирует по сходным законам. И сложности у МПС и у Аэрофлота одинаковые: недостаточное количество самолетов, валюта и все более увеличивающееся количество пассажиров.

Конечно, количество авиационных рейсов возросло. Сейчас самое напряженное направление на Америку. Если раньше в неделю было пять рейсов, то сейчас 8. Рейсы увеличены и для самолетов Аэрофлота и для «Пан-Америкэн». Но этого все равно недостаточно. Наша сторона предлагала американцам дальнейшее увеличение. Американцы соглашаются на это только при условии, что советские пассажиры должны летать и самолетами «Пан-Америкэн». Прекрасное предложение. Но Аэрофлоту, который с 1 января этого года работает по принципу валютной самоокупаемости, придется в таком случае нести валютные убытки. Ведь билеты, как и на поезд, покупаются советскими авиапассажирами в рублях, а расчет с иностранными авиакомпаниями ведется в долларах. Аэрофлот за прошлый год заплатил за своих пассажиров 15 миллионов долларов. И это только за тех, кто выезжал в США.

Самолетов в нашей стране тоже не хватает. Напряжение с этой нехваткой вполне очевидно и на внутренних воздушных рейсах. И все-таки какие пути разрешения этих проблем видит руководство Аэрофлота?

Владимир Дмитриевич Самаруков, начальник коммерческого управления Министерства гражданской авиации СССР:

— Обеспечение нормального въезда-выезда должно регулироваться и Министерством финансов в вопросах оплаты, и Министерством иностранных дел в вопросах регулирования виз, и УВИРом в вопросах выдачи паспортов. Мы сейчас затрудняемся сказать, сколько на следующий год предполагается выездов в Израиль, Канаду, ФРГ. У нас нет таких данных. И все-таки мы договариваемся о дальнейшем увеличении частоты полетов в США. Это реально. Сейчас с 1 ноября мы ввели на Америку самолеты ИЛ-86. Это 316 посадочных мест. Планируем прямые рейсы из Грузии в Израиль. Из Армении в США. Но эти вопросы нам требуется координировать с МИД СССР и этими иностранными государствами. Также ставим вопрос о том, чтобы отправку советских граждан в США Аэрофлот обеспечивал сам. А американцы пусть больше концентрируются на перевозке иностранных граждан.

Проходя всю эту цепочку ведомств, я думала о том, что для того, чтобы выехать за рубеж, нужно иметь отменное здоровье. А я ведь почти не касаюсь проблемы проживания людей в Москве, если они иногородние. А оформляться приходится месяцами!

Почему основная масса выезжающих концентрируется в Москве? Годы нашей изоляции, минимальных контактов с миром создали статичную, рассчитанную на нужное количество и качество людей систему обслуживания. И когда здравый смысл, демократия делают право въезда-выезда одинаково доступным для всех, система эта ломается, грозя погрести под своими останками новых клиентов. Конечно, можно обрушиваться не на систему, а говорить, что все испортили и сломали эти, непонятно с какой цепи сорвавшиеся толпы въезжающих-выезжающих. В этом направлении мыслит та часть чиновников, которой не по нраву новый курс международных инициатив нашей страны. Они кричат: «Не время! Свободный выезд и въезд породит множество проблем!» Кричат, забывая, что напряжение это породил тот курс, который сдерживал на протяжении десятилетий нормальное и постепенное обеспечение права советского человека на въезд и выезд.

Именно поэтому отсутствие широкой консульской сети на территории Советского Союза скапливает тысячи людей, оформляющихся на выезд, в Москве. Несовершенство банковской системы, монополизировавшей право на продажу валюты, тоже собирает сотни тысяч людей в те немногие города, где можно обменять деньги. Крайне малочисленное количество городов, из которых можно выехать за рубеж, тоже, вероятно, отвечало старым требованиям пресловутой государственной безопасности.

В ноябре 1989 года II сессия Верховного Совета СССР рассмотрела и одобрила в первом чтении основные положения проекта Закона СССР «О порядке выезда из Советского Союза и въезда в СССР граждан СССР». Сессия поручила комитетам Верховного Совета СССР по международным делам и по вопросам законодательства, законности и правопорядка совместно с Советом Министров СССР доработать проект Закона.

Известный юрист, народный депутат СССР, член комитета по вопросам законодательства, законности и правопорядка, Александр Яковлев поделился впечатлениями после ознакомления с законопроектом:

— В преамбуле к законопроекту говорится, что настоящий Закон устанавливает юридические гарантии права на въезд и на выезд. А если к этому Закону будут выходить инструкции, то они подлежат опубликованию. Мы наконец-то покончим с инструкциями, которые регулировали наше поведение за нашей спиной.

Здесь много интересного. Какие-то вопросы носят дискуссионный характер. Хотелось бы, чтобы после обсуждения в комитетах он стал еще более прогрессивным. Ряд замечаний депутатов при первом обсуждении на сессии следует признать серьезными и справедливыми. Например, я тоже считаю, что всякое рассмотрение конфликтной ситуации должно решаться в судебном порядке. Но в целом это настоящий свежий ветер в нашем законодательстве! Я бы хотел, чтобы наше внутреннее законодательство было бы таким же революционным. А то скоро в Ленинград будет сложнее съездить, чем в Париж. Теперь уже сахар без прописки купить нельзя.

— Хороший прогрессивный закон, как политическая инициатива, должен иметь экономическое и социальное обеспечение.

Мы не можем не видеть, что на Западе существует подлинное соответствие между международными юридическими нормами и социально-экономическим потенциалом этих стран. У нас политические инициативы находятся в дисбалансе с экономическим обеспечением этих инициатив. Человек юридически имеет право выехать: получить паспорт, визу, но фактически не может, скажем, вылететь. Не может реализовать это право на практике.

— Сама логика должна нам подсказать, что без приближения к реальности многие, даже прекрасные, законы могут оказаться фикцией. Что я имею в виду под реальностью в экономике? Это прежде всего реальные цены на реальные вещи. Реальные цены у нас признаются в двух случаях: на Черемушкинском рынке и на «черном» рынке. В первом случае речь идет о помидорах и огурцах. Во втором — обо всем, включая валюту, автомашины, бриллианты, если хотите! Вот если мы эту реальность признаем за реальность, может, что-то и сдвинется с места. На «черном» рынке доллар стоит 16 рублей. Вы скажете, у меня нет таких денег! И тут начнется разговор другого плана. Когда эти реальные цены без обмана окажутся перед нами в реальном обличии, тогда мы скажем: хватит валять дурака! Хватит душить кооперативы! Дайте заводам, колхозам, фабрикам работать так, как работают кооперативы. Надо не огосударствлять кооперативы, а окооперативливать государственную систему. Пусть там зарабатывают так, чтобы можно было купить доллар за 16 рублей. До тех пор, пока эта цепочка реальностей не переключится на экономическую реформу, конечно, стресс будет.

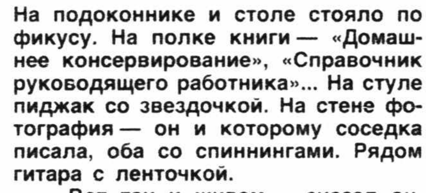
— Предполагаете ли вы сопротивление при принятии этого законопроекта определенных лиц или группы лиц?

— Я не предвижу серьезного противодействия. Открытого по крайней мере. Речь может идти об отсрочках, проволочках. И они порой неизбежны.

Мы должны помнить, что очереди в кассах, в отделениях Внешэкономбанка, гостиницах и ОВИРах — это род политического давления на изжившую себя систему. Это требования, выраженные в реальном поведении. Социальный пресс, действия которого нельзя недооценивать. Я думаю, что все это должно ускорить принятие решений, способных изменить положение нашей экономики. Ведь экономика не без хозяев. Самое главное сейчас — не отказаться от нового политического курса!

Виктор ВЕРИЖНИКОВ
(Ленинград)

ТОТ САМЫЙ



Стою я за помидорами и вдруг слышу:

— Вы крайний?

Оборачиваюсь — он. Ну, вы его тоже знаете. Каждый праздник его портреты вывешивают. Правда, не в начале шеренги, а ближе к середине, но все равно видный человек. И вот тоже за помидорами стоит.

— Что же вы,— говорю,— сами за помидорами пошли?

— Да жена послала,— поморщился он.— Сама, вишь, к портнихе потопала. Огоньку не найдется?

Зажигалку достаю, протягиваю, но на всякий случай говорю:

— Зачем же вы курите, здоровью вредите? Вы же так нужны державе.

— Жизнь нервная. С утра двух министров отчитал, после работы в трамвае нахамили.

Купили мы помидоры. Я пять кило, он полтора. Идем вместе по улице — оказалось, нам по пути. С ним многие здороваются, но не все — не все, видно, узнают.

— Может, зайдете? — вдруг предлагает.— Я вот тут живу, на шестом этаже. Лифта, правда, нет...

Отчего же, думаю, не зайти. Еще обидится.

Вошли мы в квартиру. Какая-то старуха сразу как на него заорет:

— Ах ты, такой-сякой, опять ноги не вытер! А еще большой пост занимает! Я вот как напишу твоему самому главному!

— Напишет,— шепнул он мне, старательно вытирая ноги.— Два раза уже писала. Соседка, чтоб ей пусто было!

Комната у него была метров десять и выходила прямо на автобазу. На подоконнике и столе стояло по фикусу. На полке книги — «Домашнее консервирование», «Справочник руководящего работника»... На стуле пиджак со звездочкой. На стене фотография — он и которому соседка писала, оба со спиннингами. Рядом гитара с ленточкой.

— Вот так и живем,— сказал он, доставая из гитары чекушку.— Ну, за знакомство! Пока жена не заявилась.

Посидели, помолчали. Потом он берет со стола какую-то бумажку с жирным пятном — видно, сковородку ставили. На ней каракули какие-то, перечеркнуто все, переправлено.

— Вот, выступаю завтра. Не подскажете, как лучше сказать: «Неуклонно повышайте» или «Повышайте неуклонно»?

— По-моему, лучше «постоянно наращивайте»,— предложил я.

— А ведь верно! — согласился он.— Так и напишем.

Я ему еще немного текст поправил, а потом он встал и говорит:

— Вы уж извините. Мне еще внука из детсада забирать. Подкинули.

В общем, попрощались мы. Назавтра его выступление по телевизору передавали. Так и так, говорит, постоянно наращивайте! И все ему стали аплодировать. Помогла, стало быть, моя подсказка!



Материалы подготовил Игорь Двинский. Рисовал Виктор Коваль.

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

ОДНОФАМИЛИЦА

Товарищи, у вас в милиции никого знакомых нет? А то, понимаете, пришла я туда и спрашиваю: скажите, где у вас здесь в паспорт изменения вносят? А он: у вас что, мамаша, с национальностью плохо? Вы не поняли, отвечаю, с национальностью у меня хорошо, у меня с фамилией плохо! Фамилия у меня неблагозвучная. А-а, говорит, это пожалуйста, к нам как раз недавно гражданин по фамилии Дундук обратился, мы ему выправили, на Сундук! А у вас какое, извините, фамилие, если не секрет? Какой секрет, Нина Андреева... Он аж по стойке «смирно» вскочил: как, та самая, что статью «Не могу поступаться принципами» написала? В том-то и дело, объясняю, другая, однофамилица! И за что мне на старости лет такое наказанье?! А он: все одно, гражданка, идите, ничего для вас сделать не можем! Мы и так вчера семи Бериям и десяти Сусловым отказали! И вообще много вашего брата тут ходит. Сегодня мужик приходил, просил фамилию Жданов на Зощенко исправить, а один пенсионер по два раза на день звонит, ему, видите ли, его имя-отчество не нравится: хочет быть Ильей Леонидовичем, а не наоборот. Обращайтесь в райисполком!..

В райисполкоме, врать не буду, меня лучше приняли. Секретарша автограф попросила, а председатель, как услышал фамилию, сразу в приемную выскочил. «Ага,— кричит,— явилась, противник перестройки!» А сам тут же в кресло усадил, чай подал, дверь на ключ запер. «Извините,— говорит,— служба!» А потом ласково так:

— Ну, какие, товарищ Андреева, проблемы? Мы на то и призваны, чтоб таким мужественным людям помогать!

— Вот спасибо, мне бы фамилию в паспорте изменить.

— Понимаю, время судьбоносное! Либо мы их, либо они, без нас... Но крепитесь, пронесет, а мы вас в обиду не дадим! Теперь настоящих русских фамилий немного, жаль, если на одну меньше станет.

Я обрадовалась! Что вы, говорю, не беспокойтесь, не станет! Я с соседом договорилась, он мою фамилию с удовольствием себе возьмет.

— Похвально, похвально! А как зовут этого смелого патриота?

— Очень просто зовут: Лазарь Каганович!

Тут он поперхнулся, аж заварка у него из ноздрей пошла.

— Хулиганка! — кричит.— Выведите ее из советского учреждения!

А чего выводить, я сама поняла, что меня сейчас запросто могут из одного советского учреждения вывести, а в другое учреждение ввести!..

С тех пор почти из дому не выхожу. Единственное, психиатр участковый успокоил:

— Что вы, говорит, мамаша, такая нервная?! Вон люди по фамилии Кунаев, Романов, Гришин до сих пор персональную пенсию получают и на здоровье не жалуются! Ждут.

Вот и я жду и надеюсь. А все-таки, товарищи, может, есть у кого знакомые в милиции? Пусть хоть по-восточному переделают, я согласна! Андреева-задэ...

Владимир ТУРОВСКИЙ
(Львов)

ПАРОДИЯ

ВЫТЬ ИЛИ НЕ ВЫТЬ?..

Дружно бухарины и авербахи
роют могилу — аж взмокли рубахи,
русского гения должно зарыть!..
(«Есенин»)

. . . .

...зашевелилась родимая выть...

. . . .

...золотая болотная ржавь...

. . . .

Но кресты сломали хунвэйбины,
петухов эпоха извела...

. . . .

и как память бездомной свободы
я хранил по прошествии лет
финку русской наборной работы
и эсэсовский медный кастет.
(Станислав Куняев)

Что с тобой, сыра земля родная?
Обойми меня и приголубь!
Я люблю от края и до края
Тишь и гладь твою, и глубь, и глупь.
Я защитник твой и вечный пленник,
Память я твоя, и, не тая,
Заявляю — я твой современник,
Молодая гвардия твоя!
Но, порты сменившие на шорты,
Проявляя дьявольскую прыть,
Хунвэйбины, рапы, раппопорты
Выть родную заставляют выть,
В ржавь одели нежные рассветы,
Русских петухов свели на нет...
Потому хочу я крикнуть:
— Где ты,
С детства полюбившийся кастет?!
Где вы, други, братцы удалые,
Родичи по крови и уму?
Неужели снова вас в пивные
Заманила нечисть, не пойму?
Что же это?!
Может, знает классик?
Объясни, Есенин, мне, ответь!
И ответил тихо классик:
— Стасик,
Это только тягостная бредь!

ЗАЯВЛЕНИЕ
(неизвестный автор)

Я от всех детей хочу
Пожелать с любовью
Леониду Ильичу
Доброго здоровья!..
Подарить букет цветов
Цвета огневого
И обнять от всей души,
Как отца родного!
(Из приветствия пионеров XXVI съезду КПСС)

Взявшись бойко за перо,
Я хочу с любовью
Пожелать Политбюро
Крепкого здоровья!
Подарить букет цветов
Распрекрасных самых,
А еще прижать к груди,
Как родную маму!
И сказать от всей души
(Только по секрету):
За подобные стишки
Числюсь я поэтом,
Не один десяток лет
Я служу Отчизне...
Если памятника нет,
Ставьте бюст при жизни!

Константин МЕЛИХАН
(Ленинград)

МИНИАТЮРЫ

● **Мужчина — как загар: сначала он к женщине пристает, а потом смывается.**

● **Если ребенка нашли в капусте, значит, его родителей слишком часто посылали на овощную базу.**

● **Если мужчина не делает женщине предложение, значит, он любит ее только на словах.**

● **То, что женщине по душе, часто мужчине не по карману.**

● **Женщину не поймешь: то она недовольна, что мужчина любит одного себя; то она недовольна, что он любит другую женщину!**

● **Юмор — это когда смеются над тем, кто упал. А сатира — это когда смеются над тем, кто толкнул.**

● **Если человеку дать все, что он хочет, он захочет и то, чего не хотел.**

● **Должен ли джентльмен вытирать ноги, если перед дверью лежит другой джентльмен?**

● **Чем больше женщина вертится около зеркала, тем больше мужчин вертится около женщины.**

● **Каждая жена должна помнить: обеды будут вкусней, если готовить их реже.**

● **Фата — белый флаг мужчин.**

● **Сначала женщина говорит мужчине: «Ты мой!..» — и только после свадьбы уточняет, что именно в доме он будет мыть.**

● **Чтобы мужчина давал семье больше денег, надо с ним вовремя развестись.**

● **Блузка — как арбуз: догадаться о содержимом помогает вырез.**

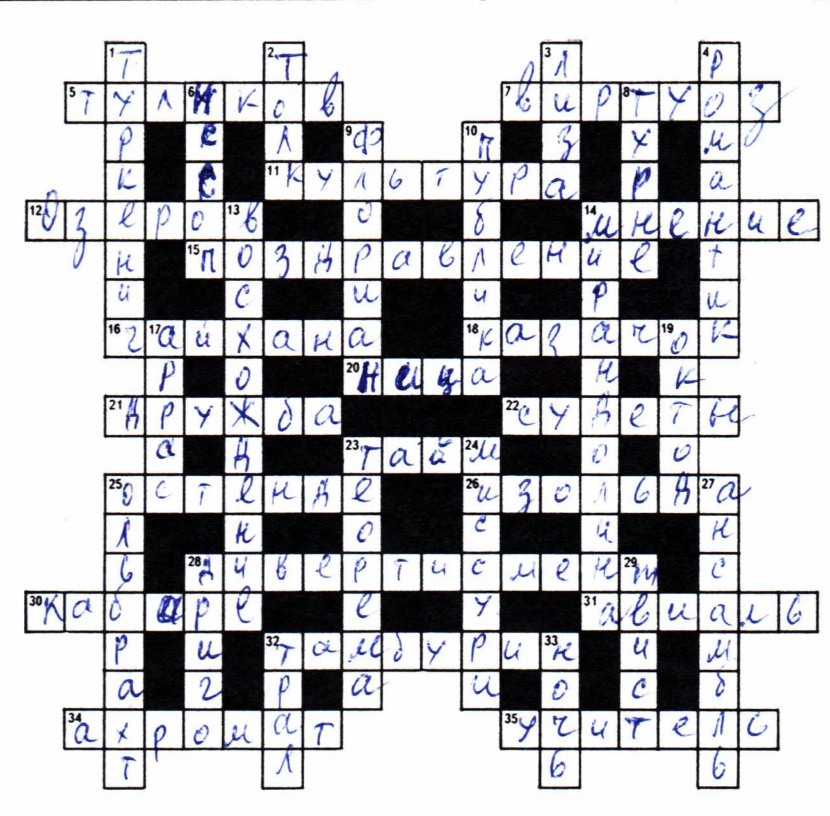
● **Человек может все, пока не начнет что-то делать.**

● **Самолет — самый быстрый вид транспорта: всего за несколько часов вы можете потратить то, что заработали за месяц.**

● **Если бы меня попросили назвать три лучших города, я бы назвал: Ленинград, Петроград и Петербург.**

● **Иной готов грудью прикрыть товарища от награды.**

КРОССВОРД



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Советский композитор, автор песни «Мы за мир». 7. Музыкант, мастерски владеющий техникой исполнения. 11. Исторически определившийся уровень развития общества. 12. Спортивный комментатор Всесоюзного радио, неоднократный чемпион СССР по теннису. 14. Суждение. 15. Приветствие по случаю радостного, приятного. 16. Предприятие общественного питания в Средней Азии. 18. Украинский народный танец. 20. Река в Западной Сибири. 21. Взаимное доверие, привязанность, общность интересов. 22. Горы в Чехословакии, Польше, ГДР. 23. Период игрового времени в хоккее, футболе. 25. Порт и курорт в Бельгии. 26. Героиня оперы Р. Вагнера. 28. Сюита из балетных номеров. 30. Ресторан с эстрадной программой. 31. Сплав для изготовления лопастей винтов вертолетов. 32. Вид небольшого цилиндрического барабана. 34. Объектив, применяемый в биноклях. 35. Преподаватель, педагог.

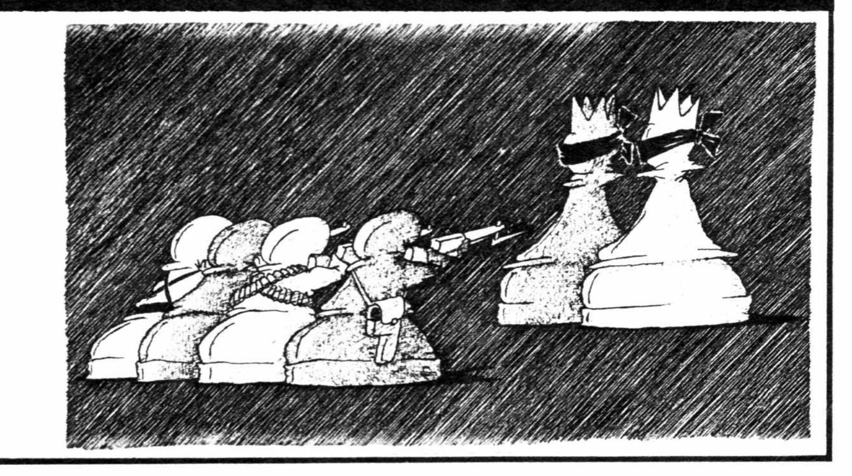
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Командир подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 2. Польза, прок. 3. Действующее лицо оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». 4. Рассказ М. Горького. 6. Южное лекарственное растение, пряность. 8. Поездка артистов на гастроли. 9. Чешский поэт, мастер лирической миниатюры. 10. Зрители, слушатели. 13. Подъем на гору. 14. Балет композитора С. Н. Василенко. 17. Административный центр департамента во Франции. 19. Электровакуумная лампа. 23. Предложение в математике, устанавливаемое доказательством. 24. Приток Миссисипи. 25. Чешский писатель, участник Движения Сопротивления. 27. Коллектив музыкантов-исполнителей. 28. Итальянский композитор и дирижер, выступавший в Петербурге. 29. Американский бальный танец. 32. Конусообразная сеть для ловли рыбы с судов. 33. Стихотворение А. С. Пушкина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Карамзин. 7. Чапаевка. 10. Герасим. 11. Артюхин. 12. Булат. 13. Тумба. 14. Шумка. 15. Победоносиков. 19. Термодинамика. 24. Гольф. 25. Хотин. 27. Стриж. 28. Гонорар. 29. Бирюзов. 30. Бидструп. 31. Электрон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камерун. 2. Висмут. 3. Панама. 4. Скрипка. 6. Масштаб. 8. Артишок. 9. Криминалистика. 15. Пост. 16. Дефо. 17. Сава. 18. Вега. 20. Реферат. 21. Инсбрук. 22. Бородин. 23. Миронов. 25. Хариус. 26. Нобиле.

НЕТ ПРОБЛЕМ? **Рисунок Алексея ЧЕРВЯКОВА.**



ОГОНЁК

video

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ «ОГОНЕК»-ВИДЕО

«ОГОНЕК»-ВИДЕО — ЭТО:

СЕНСАЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

САМАЯ ОСТРАЯ ВИДЕОПУБЛИЦИСТИКА 

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК ПЕРЕСТРОЙКИ 

ХОРОШИЙ ВКУС И ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТО, ЧТО ВЫ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ НА ЦТ 

Заказы на видеовыпуски 1990 года принимаются в неограниченном количестве от организаций. В заказе просим указать адрес отгрузки с почтовым индексом и точные банковские реквизиты. Вы имеете возможность оформить годовую подписку на все выпуски в 1990 году.
МОСКВА, 117313, аб/ящик 843. Тел. 212-15-79.

40 коп. Индекс 70663